

АЗБУКА



Кельтские сумерки

УИЛЬЯМ БАТЛЕР
ЙЕЙТС

*Кельтские
сумерки*

ЛАУРЕАТ
НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ



АЗБУКА-КЛАССИКА
NON-FICTION

ЙЕЙТС

АЗБУКА-КЛАССИКА

NON-FICTION

УИЛЬЯМ БАТЛЕР
ЙЕЙТС

Кельтские сумерки



Санкт-Петербург

УДК 821.111
ББК 84(4Ирл)-44
Й 30

Перевод с английского В. Михайлина

Дизайн серии В. Пожидаева

Оформление обложки В. Гореликова

- © В. Михайлин, перевод, 2014
- © Г. Кружков, перевод стихов, 2014
- © Ф. Сергеев (наследник),
перевод стихов, 2014
- © В. Пожидаев, оформление серии, 2014
- © ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®

ISBN 978-5-389-08110-9

Кельтские сумерки

Сказитель

Немалую часть рассказанных в этой книге историй поведал мне человек по имени Падди Флинн, маленький ясноглазый старик, ютившийся в крохотной, в одну комнату, и с прохудившейся крышей хижине в деревне Баллисдейр, в самом, с его точки зрения, «знатном» — имелся в виду народ холмов¹ — месте во всем графстве Слайго. Есть они, конечно, и в других местах, но с Драмклиффом или Дромахайром всем прочим тягаться трудно. Когда я впервые увидел его, он сидел, скрючившись, у огня, и рядом с ним стояло ведро грибов; в другой раз я застал его прямо под забором — он спал как младенец и улыбался во сне. Он всегда был приветлив и весел, хотя по временам мне казалось, что я отследил в глазах его (быстрых, словно глаза кролика, и глядели они, как будто из нор, из двух морщинистых темных норок) толику грусти, которая, однако, и сама была отчасти в радость; мечтательная, тихая грусть зверей и людей, живущих, как звери, чутьем.

¹ Народ холмов, народ сидов, сиды, фэйри, маленький народец и т. д. — феи и прочие демонологические персонажи, обитающие в Ирландии в сздах, полых изнутри холмах. — *Примеч. перев.* Здесь и далее примечания переводчика помечены цифрами, а примечания автора — звездочками.

А жизнь, нужно сказать, его не баловала вовсе — донимаемый деревенскими ребяташками, он брел по ней, заключенный в тройную клетку старости, чудакостности и глухоты. Может, оттого он и прописывал себе и всем прочим весьма своеобразную жизнерадостность — как средство от всех невзгод. Так, он очень любил рассказывать историю о том, как св. Колумкилле² вылечил свою мать. Как-то раз святой пришел к ней и спросил: «Как ты чувствуешь себя сегодня, матушка?» — «Хуже», — ответила та. — «Бог даст, завтра будет еще того хуже», — сказал ей на это святой. На завтра Колумкилле пришел снова, и повторился в точности такой же разговор, но на третий день мать сказала: «Лучше, сынок, благодарение Богу». И тогда святой ответил ей: «Бог даст, завтра будет еще того лучше». Еще ему нравилось рассказывать о том, как Судия, в день Страшного суда награждая праведного и обрекая на вечные муки грешника, улыбается равно ласково. Самые странные, на сторонний взгляд, вещи могли вдруг обрадовать его, как и опечалить. Я спросил его однажды, видел ли он когда-нибудь маленький народец, и получил в ответ: «А кто, как не они, донимает меня всю мою жизнь?» Еще я спросил, не приходилось ли ему встречать баньши. «Да, я видел одну, — сказал он, — внизу, у реки. Она сидела и шлепала по воде руками».

² Св. Колумкилле, он же св. Колумба (521–597), «Ангел Церкви», — один из трех наиболее почитаемых ирландских святых. Происходил из знатного королевского рода, имел даже право претендовать на королевский престол, но светской власти предпочел власть духовную, которой, кстати, обладал в пределах Ирландии в полной мере. Основал обитель на острове Айона, центр целого семейства монастырей. Защитник и покровитель филидов, древнеирландских певцов и сказителей, игравших в структуре дохристианского и раннехристианского общества весьма почетную и значимую роль. Очевидно, и сам обладал изрядным поэтическим дарованием. Проклял Диармайта, последнего язычника на престоле Тары, после чего тот погиб.

Вера и неверие

Даже и в западных³ деревнях встречаются порой люди неверующие. Одна женщина рассказывала мне на прошлое Рождество, что она не верит ни в ад, ни в призраков. Ад выдумали попы, чтобы люди вели себя хорошо; а духам, согласно твердому ее убеждению, никто бы не позволил «слоняться по земле без дела», как бы им того ни хотелось; «но фэйри есть, и эльфы есть, и водяные лошади, и падшие ангелы». И еще один мужчина из тамошних, у которого на руке был вытатуирован индеец-мохоук, придерживался таких же совершенно взглядов. Какие бы сомнения тебя ни посещали, в существовании фэйри сомневаться не приходится, потому что, как заявил мне тот человек с индейцем-мохоуком на руке, «с точки зрения разума они вполне объяснимы».

Что-то около трех лет назад в деревне Грейндж, неподалеку от Бен-Балбена⁴, ночью пропала вдруг девочка, работавшая там в прислугах. Сразу же прошел слух, что ее украли фэйри, и люди в деревне взволнованы были до крайности. Говорили, что один из местных жителей схватил ее в последний момент и долго с фэйри за нее боролся, но в конце концов они одержали-таки победу, а в руках у него вместо девочки осталось метловище. Обратились к местному констеблю; он тут же организовал поиски, а кроме того, посоветовал крестьянам сжечь на том лугу, с которого она пропала, весь букалаунс (крестовник), потому что букалаунс для народа холмов — травка священная. Они всю ночь выжигали крестовник, а констебль читал тем временем какие-то заклятья. Наутро девочку обнаружили на этом

³ Запад, земли древнего королевства Коннахт, считаются в Ирландии традиционно связанными с понятиями мудрости, веры, ведовства и друидического знания.

⁴ Гора в северной части графства Слайго, на родине Йейтса.

самом лугу. Она рассказала, что фэйри увезли ее прочь, очень далеко, на лошади-фэйри⁵. В конце концов она увидела большую реку, и тот человек, который пытался ее спасти, — шутка вполне в духе фэйри — плыл вниз по течению в пустой ракушке сердцевидки. А по дороге спутники упомянули в разговоре имена нескольких жителей деревни, которым суждено было вскорости умереть.

Помощь смертных

В древних сказаниях часто приходится слышать о том, как боги уносят с собой человека, чтобы он помог им в битве; сам Кухулин одержал однажды верх над богиней Фанд⁶, когда помог ее сестре и мужу сестры победить чужой народ в Стране обетованной⁷. А еще мне говорили, что фэйри не могут даже играть в хёрлей⁸, если за каждую из сторон не станет играть смертный, чье тело — или то, что фэйри, по словам сказителя, взбредет на ум подложить на это время вместо тела, — лежит себе и спит спокойно дома. Без помощи смертных они как дым и не могут даже ударить по

⁵ Скотину народа холмов узнать и отличить от обычной, человеку принадлежащей, совсем не трудно. И коровы, и кони, и даже собаки у них, как правило, белые с красными глазами и ушами. Гривы у коней также обыкновенно рыжие.

⁶ *Фанд* (Фон) — в «Недуге Кухулина» его потусторонняя возлюбленная, до которой он добирается, переплыв озеро в бронзовой ладье.

⁷ У кельтов была своя Страна обетованная — счастливая земля за морем, на западе, царствовал в которой Мананнан, сын Лера, в свободное от королевских обязанностей время осуществляющий еще и функции бога моря.

⁸ *Хёрлей*, хёрли или же хёрлинг — своеобразный ирландский травяной хоккей, игра древняя и популярная даже и у меньших языческих божеств или местных духов, прямых предков фэйри.

шару. Как-то раз мы вдвоем с приятелем бродили по болотистой равнине в графстве Голуэй, и по дороге нам попался старик с резкими, крупными чертами лица — он копал канаву. Приятелю моему доводилось прежде слышать, что этот самый человек давно, еще в молодости, видел нечто в высшей степени удивительное, и нам-таки удалось в конце концов выудить из него эту историю. Когда он был подростком, ему пришлось однажды работать в поле вместе с тремя десятками других мужчин, женщин и подростков. Случилось это где-то за Туамом, неподалеку от Нокнагура. И вдруг они, все тридцать человек разом, увидели на расстоянии что-то около полумили фэйри, их там было сотни полторы. Двое, одетые в темное, как принято было в те времена одеваться среди людей, стояли ярдах в ста друг от друга, на прочих же одежда была всех цветов радуги и сшитая в две полосы и в разноцветную шашечку, а на некоторых — еще и красные⁹ жилеты впридачу. Чем они там занимались, он, наверное, видеть не мог, но впечатление было такое, что они как раз играли в хёрлей, ибо «вид у них был точь-в-точь такой». Иногда они вдруг пропадали с глаз, а затем появлялись снова — «он почти готов в том поклясться» — прямо из тел тех двух людей, одетых в темное. Те двое росту были вполне человеческого, а остальные — совсем маленькие. Он наблюдал за ними около получаса, а потом старик, на которого и он, и все прочие работали, поднял кнут и сказал: «А ну за работу, хватит дурака валять!» Я спросил его: «А тот старик, он тоже видел фэйри?» — «А как же, конечно видел, но он же платил нам за работу деньги и не хотел, чтобы деньги его пропали даром». И он так загрузил их работой, что никто и не заметил, куда в конце концов подевались фэйри.

1902

⁹ *Красный* — традиционный цвет ирландской нечисти. Ср. с окраской животных-фэйри.

Духовидец

Как-то вечером в гости ко мне заглянул один молодой человек¹⁰ и стал говорить о сотворении земли и неба и о прочих разностях. Я же постарался расспросить его о том, как он живет и чем занимается. С тех пор как мы с ним виделись в последний раз, он много написал стихов и картин, мистических по преимуществу, но с недавних пор забросил поэзию и живопись совершенно; теперь он взялся воспитывать в себе спокойствие и силу и опасался, что чересчур эмоциональная жизнь художника может всерьез ему в том помешать. И тем не менее стихи свои он охотно цитировал на память. Часть из них так и не была никогда записана. Вдруг мне показалось, что он как-то странно оглядывается вокруг. «Вы что-нибудь видите, К.?» — спросил я. «Женщина, сияющая и крылатая, с распущенными длинными волосами, стоит у двери», — был ответ, или что-то в этом же духе, я уже точно не помню. «Это воздействие кого-то из живущих, кто думает о нас сейчас и чьи мысли явлены нам в форме символа?» — спросил я снова; мне и раньше приходилось общаться с духовидцами, и я вполне освоился с их манерой выражаться. «Нет, — ответил он, — если бы это были мысли живого человека, я бы ощутил, как его жизненная сила воздействует на мое материальное тело, у меня забилось бы чаще сердце и непременно бы перехватило дыхание. Это дух. Кто-то, кто умер уже или никогда не жил».

Я спросил его, чем он зарабатывает на жизнь, и узнал, что он клерк в одном большом здешнем магазине. В свободное от работы время он, однако, бродил по окрестным холмам, беседовал с крестьянами — чокнутыми слегка или одержимыми, как он сам, духами,

¹⁰ Речь идет об известном ирландском поэте Джордже Расселе (1867–1935), который публиковался обычно под псевдонимом АЕ.

а не то убеждал людей со странностями или с нечистой совестью передоверить ему свои беды. В другой раз, когда уже я оказался у него в гостях, выяснилось, что люди шли к нему буквально один за другим и несли с собой проблемы свои, свою веру и неверие, чтобы разглядеть их получше в сумеречном свете его ума. Иногда видения посещают его прямо во время разговоров с такими вот посетителями; мне говорили, что он описывал разным людям самые интимные подробности давнишних каких-то событий, детали жизни и быта их друзей, живущих едва ли не на другом краю света, чем приводил их в буквальном смысле слова в трепет перед таинственными способностями странного их наставника, который по возрасту многим из них годился по меньшей мере в сыновья, но был прозорливей, чем самые старые и мудрые из них.

Стихи, которые он мне читал, можно было бы и не подписывать — там был он сам и его видения. Порою речь шла о жизнях, прожитых им, как он считал, в иных столетиях, иногда — о людях, с кем он говорил, кому помогал понять собственные их видения и сны. Я сказал ему, что хочу написать статью — о нем самом и о его талантах, и получил на то дозволение при одном условии, что имени его я называть не стану, ибо он хотел навсегда остаться «безвестным, скрытым, безликим». На другой день он прислал мне по почте большую подборку стихов с запиской следующего содержания: «Вот копии понравившихся Вам стихов. Не думаю, чтобы я когда-нибудь еще взял в руки перо или кисть. Сейчас я готовлю себя к другой совершенно деятельности в ином существовании. Я должен сделать твердыми ветви мои и корни. Сегодня — не мой черед выпускать цветы и листья».

Стихи были, все до единого, — попытка поймать в тенета смутных образов некий высший, едва осязаемый смысл. Встречались, и часто, отрывки весьма недурные, но всегда в окружении мыслей, имевших

несомненную ценность для него самого, но для стороннего глаза — монеты из незнакомого металла с надписями на чужом языке. Бывало и так, что мысль, прекрасная сама по себе, испорчена была бесповоротно небрежностью формы, так, словно прямо посередине фразы он останавливался вдруг в сомнении: а не глупость ли с его стороны передоверить все это бумаге? Он часто иллюстрировал стихи своими рисунками, в коих несовершенство анатомии не мешало замечать красоту образа и точность чувства. Изрядную долю сюжетов дали ему фэйри, в которых он искренне верит, например: Томас Эркилдунский¹¹ сидит неподвижно в сумерках, а сзади, из тьмы, склоняется к нему и шепчет что-то на ухо молодая красивая девушка. Более всего его увлекали яркие цветовые эффекты: духи с павлиньими перьями вместо волос на головах; призрак, протянувший из вихря пламени руку к звезде; некое бесплотное существо, несущее в руках переливчатый радужный шар — символ души, скрыв его наполовину в ладонях. Но всюду за буйством красок — прямое обращение к живым человеческим чувствам, что и привлекало к нему всех тех, кто искал, подобно ему самому, озарения или же оплакивал утраченное счастье. Один из таких людей запомнился мне особо. Пару лет тому назад я провел едва ли не целую ночь, бродя взад-вперед по холмам вдвоем со старым крестьянином, который, будучи слеп и глух к большинству людей, с ним одним делился всеми своими бедами. Оба были несчастливы: К. — потому, что он тогда как раз пришел впервые к мысли оставить навсегда искусство и поэзию, старый крестьянин — потому, что жизнь утекла по капле прочь, не оставив ни ясной памяти по себе, ни надежды на что-то иное и лучшее. Печаль его была настолько

¹¹ *Томас Эркилдунский* (1220?–1297?) — духовидец и поэт, обладавший предположительно провидческими способностями. Автор поэмы на сюжет о Тристане.

сильна, что он едва не повредился в рассудке. Раз он выкрикнул вдруг: «Бог владеет небесами, Бог владеет небесами — так нет, ему подавай еще и мир!» — потом взялся вдруг жаловаться, что все его прежние соседи померли и никто его уже не знает и не помнит; в былые времена стоило ему зайти в любой окрестный дом — и для него тут же ставили стул к огоньку поближе, а теперь они спрашивают друг у друга: «Кто этот старик?» — «Тоска меня совсем заела», — сказал он еще раз и снова принялся говорить о Боге и о Небесах. И не один раз, махнув рукой куда-то в сторону гор, он говорил мне: «Я один знаю, что случилось вон там, в терновнике¹², сорок лет назад», — и в лунном свете на лице у него блестели слезы.

Деревенские призраки

Древние картографы писали поперек белых пятен: «Здесь львы». Деревенские рыбаки и землепашцы настолько на нас не похожи, что единственная фраза, которую мы с полным правом можем написать на карте, звучать будет так: «Здесь призраки».

Мои знакомые призраки живут в деревне Х., в Ленстере¹³. Древняя эта деревушка — с кривыми ее улочками, с заросшим высокой травой двориком на задах старой церкви, с зеленью молодых елочек вместо фона, с причалом, у которого обретаются несколько пахнущих смолой рыбацких люгеров, — истории собой никоим образом не обременила. В анналах энтомологии,

¹² *Терновник* — излюбленное место обитания баньши и прочей ирландской нечисти.

¹³ Деревня Хоут невядалеке от Дублина. Семья Йейтса действительно жила там с 1881 по 1884 год. *Ленстер* — восточная «четвертина» Ирландии, связанная традиционно с понятиями богатства, ремесел и крестьянского труда.

однако она известна достаточно хорошо. Ибо чуть к западу от нее расположена небольшая бухта, где дотошный исследователь может из ночи в ночь, в сумерках, утренних или вечерних, наблюдать у самой кромки прилива какой-то очень редкий вид бабочек. Сотню лет назад его завезли сюда из Италии контрабандисты, вместе с грузом шелка и кружев. Если охотник за бабочками отложит свой сачок в сторону и выйдет на охоту за историями о призраках или о тех детях Лилит¹⁴, коих мы привыкли называть фэйри, терпения ему понадобится куда как меньше.

Для человека робкого ночной поход в деревню сопряжен с выработкой целой стратегии. Мне рассказывали, как мучился в сомнениях один такой несчастный: «Боже святой! так как же мне идти? Ну, пойду я мимо горы Данбой, а вдруг как выглянет оттуда старый капитан Берни? Пойду вдоль моря, а там на ступеньках этот, без головы, и еще один — на причале, и еще новый этот — у старой церковной ограды. А если идти, скажем, в обход, так там у Хиллсайдских ворот является миссис Стюарт, а на Хоспитал-лейн и сам Нечистый, собственной персоной».

Я так и не узнал, которому из духов он осмелился таки бросить вызов, но я больше чем уверен, что не тому, последнему, с Хоспитал-лейн. В холерные времена там построили карантинный барак. Когда надобность отпала, барак срыли, но с тех самых пор тамошняя земля в избытке родит призраков, и бесов, и фэйри. В Х. есть один фермер, по имени Падди Б., человек очень сильный и непьющий совершенно. Его жена и золовка, если речь заходит о физической силе, часто говорят, что и представить себе не могут, каких он может

¹⁴ Согласно еврейской традиции, первая жена Адама. Была сотворена с ним одновременно, однако отказалась признать в нем своего повелителя. Тем не менее уже после грехопадения спала с ним и рожала демонов.

натворить дел, если выпьет. Так вот однажды ночью этот самый Падди Б., проходя по Хоспитал-лейн, заметил существо, которое он принял поначалу за домашнего кролика; чуть погодя он увидел, что это белая кошка. Когда он подошел поближе, существо начало вдруг расти понемногу и пухнуть, и чем больше оно становилось, тем отчетливее Падди чувствовал, как у него убывает сил, так, словно кто-то из него их высасывал. Он повернулся и убежал.

По Хоспитал-лейн проходит «тропа фэйри». Каждую ночь они ходят по ней от холма к морю и от моря назад, к холму. У самого моря на пути у них стоит дом. Однажды ночью миссис Арбьюнати, которая как раз в этом доме и живет, оставила дверь открытой: ночью к ней должен был приехать сын. Ее муж спал у очага; в открытую дверь вошел высокий человек и сел с ним рядом. Он посидел так некоторое время, а потом миссис Арбьюнати спросила его: «Во имя Господа нашего, кто вы такой?» Он встал и вышел, сказав ей в дверях уже: «Никогда об этот час не оставляйте дверь открытой, зло может войти к вам в дом». Она разбудила мужа и все ему пересказала. «Кто-то из Доброго Народа¹⁵ заходил к нам», — сказал он ей.

Скорей всего, тот человек, что не мог никак выбрать дорогу, решил на встречу с миссис Стюарт, у Хиллсайдз-гейт. При жизни она была женой протестантского пастора. «Ее призрак никому еще зла не сделал, — говорят деревенские, — это просто у нее епитимья такая». Неподалеку от Хиллсайдз-гейт, где бродит ее дух, появлялся некоторое весьма непродолжительное время еще один призрак, куда более примечательный. Обитал он на узкой тропинке между двумя живыми изгородями, идущей от моря к западному краю деревни. В доме, который стоит у самой этой тропки, на окраине, жил когда-то Джим Монтгомери, деревенский маляр,

¹⁵ То же, что и народ холмов, фэйри.

со своей женой. Было у них и несколько человек детей. Он был своего рода денди, поскольку происходил из семьи рангом чуть выше, чем соседи. Но был он и пьяница к тому же, и его даже выгнали за пьянство из деревенского хора, а жена у него была женщина очень крупная, и все ж таки в один прекрасный день он ее побил. Ее сестра, узнав об этом, пришла к нему в дом, сорвала с окна ставень — Монтгомери был человек весьма аккуратный, и на каждом окне у него висел ставень — и этим самым ставнем его и отходила, поскольку по габаритам и по силе она сестре не уступала ничуть. Он пригрозил подать на нее в суд; она в ответ пообещала переломать ему в таком случае все косточки до единой. После того дня она перестала с сестрой даже и разговаривать за то, что та позволила такому мозгляку себя побить. Джим Монтгомери между тем пил все больше и больше, и вскоре жене его деньги даже и на еду-то перепадать стали от случая к случаю, она же никому на него не жаловалась, будучи по натуре женщиной очень гордой. Часто ей даже и в самые холодные ночи нечем было растопить очаг. Если к ней заглядывали вдруг соседи, она говорила, что погасила уже огонь, потому что как раз собиралась идти спать. Люди часто слышали, как муж ее бил, но она опять же никому ничего не говорила. Она очень исхудала. Наконец, когда в одну из суббот в доме не оказалось ни крошки хлеба ни для нее самой, ни для детей, она не выдержала, пошла к священнику и попросила у него займы. Он дал ей тридцать шиллингов. Муж встретил ее по дороге, деньги отобрал, а саму ее избил. В понедельник она почувствовала себя очень плохо и послала за миссис Келли. Миссис Келли, едва только увидев ее, сказала: «Бабонька моя, да ты ведь помираешь» — и тут же послала за священником и за врачом. Не прошло и часа, как она и впрямь умерла. После ее смерти Монтгомери и думать забыл о детях, и лендлорд велел отдать их в работный дом. Через несколько дней после

того, как их увезли, миссис Келли шла ближе к ночи по тропинке домой, и вдруг ей явился призрак миссис Монтгомери и пошел за ней следом. Он не отставал от нее ни на шаг, пока она не вошла в свой дом. Она рассказала об этом священнику, отцу С., известному любителю и знатоку старины, но он ей не поверил. Несколько ночей спустя миссис Келли снова встретила призрака на том же самом месте. Она была слишком напугана, чтобы идти до дому, а потому, свернув с середины дороги, подбежала к ближайшему дому и попросила впустить ее. Ей ответили, что уже поздно и они ложатся спать. Она крикнула: «Бога ради, впустите меня, а не то я вышибу вам дверь». Они открыли дверь сами, и таким образом она от призрака в ту ночь спаслась. На следующий день она опять пошла к священнику и все ему рассказала. На сей раз он ей поверил и сказал, что призрак до тех пор будет ее преследовать, пока она сама с ним не заговорит.

Повстречавши призрака на той же тропинке и в третий раз, она спросила, что мешает ему покоиться с миром. Призрак сказал ей, что нужно забрать детей из работного дома, потому как до сей поры «никто из ее семьи в работный дом не попадал», а кроме того, отслужить три мессы за упокой души. «Если мой муж вам не поверит, — сказал дух, — покажите ему вот это», — и он дотронулся до запястья миссис Келли тремя пальцами. Те места, к которым прикоснулись пальцы, тут же почернели и распухли. Затем призрак исчез. Монтгомери также поначалу не поверил, что в округе бродит призрак его жены: «Она бы ни в жисть не стала являться миссис Келли, — сказал он, — она бы, чай, выбрала кого получше». Но три отметины на запястье его убедили вполне, и детей из работного дома забрали. Священник отслужил три мессы, и дух, должно быть, и впрямь успокоился, ибо с тех пор никто его больше не видел. Несколько времени спустя Джим Монтгомери сам умер в работном доме, пропив все до нитки.

Я знаю людей, которые уверены, что видели на причале призрака без головы, и еще одного человека, за которым каждый раз, как он проходит мимо старой церковной ограды, увязывается женщина с белыми лентами на шляпе*. Призрак оставляет его только у двери дома. В деревне считают, что женщина эта хочет за что-то ему отомстить. «Вот помру, буду тебе являться» — самая популярная в этих местах угроза. А жену его как-то раз до полусмерти перепугало некое существо, сочтенное ею за беса в образе собаки.

Духов, обитающих, так сказать, на пленэре, не так уж и много; те из их братии, кто склонен к комфорту, а таковых большинство, просто кишмя кишат в здешних домах, многочисленные, как ласточки под южным скатом кровли.

Однажды ночью миссис Нолан сидела в своем доме на Фладди-лейн у постели умирающего ребенка. Внезапно в дверь постучали. Открывать она не стала, опасаясь весьма резонно, что стучит не человек. Стучать перестали. Чуть погодя передняя и задняя двери распахнулись разом и снова захлопнулись. Муж ее пошел посмотреть, что случилось. Обе двери оказались заперты. Ребенок умер. Двери опять распахнулись и захлопнулись, так же как в первый раз. Тут миссис Нолан вспомнила, что она забыла, как следует по обычаю, оставить открытыми окно или дверь, чтобы душе было где выйти. Все эти странные открывания и закрывания дверей и стук были теперь вполне объяснимы — те духи, в обязанности которых входит помощь умирающему в доме человеку, предупреждали ее, напомнили ей о необходимости дать душе дорогу.

Домашний дух — создание обыкновенно безвредное и к людям расположенное. С ним мирятся, покуда

* Ума не приложу, что это за белые ленты такие. Старуха из Мэйо, пересказавшая мне множество подобного рода историй, рассказывала и о своем девере, который увидел «женщину с белыми лентами на шляпе, как она бродила между стогами в поле, и вскоре после этого он заболел, а через полгода умер».

возможно. Он приносит тем, с кем живет, удачу. Я помню двух ребяташек, которые спали по ночам в крохотной комнатухе вместе с матерью и с младшими братьями и сестрами. В той же комнате обитал и дух. Они торговали в Дублине на улицах селедкой и против духа ничего не имели, потому что знали, что каждый раз, как они спят в комнате с «привиденьем», селедка у них расходуется мигом.

Есть у меня знакомые духовидцы и в западных деревнях. Коннахтские сказки от лейнстерских отличны весьма и весьма. Характер у всех без исключения призраков из Х. серьезный, решительный и вполне прозаический. Они приходят, чтобы возвестить чью-то смерть, отомстить за причиненное зло, сделать что-нибудь, что не доделали при жизни, даже расплатиться по счетам, как одна тамошняя рыбацкая, и мигом отбывают к месту постоянной прописки. За что бы они ни брались, все делается основательно и по правилам. В белых кошек и черных собак превращаются не призраки, а бесы. Люди, что рассказывают там истории с привидениями, — все сплошь серьезные, небогатые рыбаки, находящие в трудах и днях деревенских призраков редкую роскошь пощекотать нервы страхом. В западных сказках есть причудливая некая красота, чудная, диковатая экстравагантность. Люди, от которых слышишь здесь сказки, живут в местах невообразимо прекрасных и диких, под небом, полным изо дня в день и из края в край фантастических облачных замков. Они пахнут землю, нанимаются в батраки и время от времени выходят за рыбой в море. Они не настолько боятся духов, чтобы не замечать в их проделках артистизма и юмора. Да и призраки у них такие же веселые и чудаковатые, как они сами. В одном западном городишке, где на пристани между камней растет трава, призраки — народ настолько энергичный, что как-то раз, как мне рассказывали, когда один Фома неверующий решил провести ночь в доме, который всему городу был известен как дом с привидениями, они просто-напросто выкинули

его из окошка, а следом за ним и его кровать. В окрестных деревушках они принимают порой самые странные обличия. Один покойный джентльмен ворует капусту с бывшего своего огорода в образе большого серого кролика. Какой-то злой как черт капитан дальнего плавания поселился после смерти в стене дома, под штукатуркой, в образе бекаса и производил во всем доме шум просто невообразимый. Его удалось унять, только сломав стену; тогда из цельного куса штукатурки выбрался бекас и улетел, посвистывая, прочь.

«Прах покрыл Елены очи»¹⁶

Не так давно я заехал погостить в одно тихое местечко — два-три дома это ведь еще не деревня — в баронстве Килтартан, графство Голуэй, чье имя, Баллили, широко известно в западной части Ирландии. Там стоит старый, квадратной формы замок Баллили*, где обитают фермер и его жена, неподалеку от замка, в крестьянском доме, живут их дочь и зять, и еще — маленькая мельница со старым мельником и старыми же ясенями, бросающими густую зеленую тень на воду в речушке и на огромные камни, вбитые в дно, для того чтобы можно было перейти ее, не замочивши ног. Я ездил туда прошлым летом два или три раза, чтобы поговорить с мельником о Бидди Эрли¹⁷, мудрой старой

¹⁶ Цитата из стихотворения «В год Чумы» Томаса Нэша (1567–1601).

* Замок Баллили, или Тор Баллили (тор — гэльское слово, обозначающее собственно любое укрепление, но переводимое обычно как «башня». — *Примеч. перев.*), как я его переименовал, дабы избежать слова «замок», чересчур, на мой взгляд, в данном случае высокопарного, является теперь моей частной собственностью, и я живу там в теплое время года — все лето или хотя бы часть его.

¹⁷ Бидди Эрли (1798–1874) — знаменитая ирландская ведунья и целительница.

женщине, скончавшейся несколько лет тому назад в Клэаре, и об одной ее фразе: «Лекарство от любой напасти — меж баллилийских жерновов» — и попытаться выяснить у него или еще у кого-нибудь, что она имела в виду — мох на мельничном водостоке или другую какую траву. Я был там и этим летом, и буду до осени еще, потому что Мэри Хайнс, женщина красоты необыкновенной, чье имя до сей поры произносят почтительным шепотом у очагов с горящими кусками торфа, умерла шестьдесят лет назад именно здесь; ибо ноги наши сами замедляют шаг в тех местах, где жила свой недолгий и горестный век красота, чтобы дать нам, прохожим, понять, что она не от мира сего. Старик повел меня куда-то в сторону от замка и от мельницы, вниз по длинной узкой тропке, почти потерявшейся в зарослях терновника и ежевики, и сказал в конце пути: «Вот тут стоял ее дом, даже и фундамента почти уже не видать, камни все порастащили на постройку стен¹⁸, а кусты, которые здесь росли, взялись объедать каждый год козы, пока они совсем не зачахли. Говорят, она была самая красивая девушка во всей Ирландии, кожа белая как снег и на щеках — румянец. У нее было пять человек братьев, все как на подбор, только они все умерли, давно уже!» Я поговорил с ним о песне, которую сложил о ней по-ирландски Рафтери¹⁹, знаменитый в тех местах поэт, и об одной строке из этой песни: «Глубокий погреб в Баллили». Он объяснил мне, что глубокий

¹⁸ Речь идет об обычных в Ирландии каменных невысоких оградах между полями.

¹⁹ *Энтони Рафтери* (1784–1835) — поэт и дебошир, прямой наследник древних филидов, давно уже стал частью ирландского фольклора и полноправным сказочным персонажем. Йейтс воспользовался чуть позже этой фигурой для создания одного из трех своих излюбленных персонажей и по совместительству alter ego Рыжего Ханрахана. По крайней мере история с соломенной веревкой, рассказанная о Рафтери в сборнике народных сказок Шамаса Мак-Мануса (есть и русский ее перевод), послужила сюжетной основой для одной из шести «Историй о Рыжем Ханрахане» (1897).

погреб — это большая дыра, где река уходит под землю, и проводил меня к глубокому омуту — когда мы подошли к воде, выдра скользнула у нас из-под ног и спряталась под большим серым валуном — и сказал, что рано утром откуда-то из самых глубин поднимается рыба, очень много рыбы, «чтобы попробовать свежей утренней воды с холмов».

Впервые я услышал эту песню от одной старухи, жившей в двух милях выше по реке, — она еще помнила и Рафтери, и Мэри Хайнс. Она говорила мне: «Никогда я не видела никого красивее, чем она, и никогда уже не увижу, до самой моей смерти», — он же был совсем, почитай, слепой и «жил одним только, ходил из дома в дом, а соседи все собирались его послушать. Если ты с ним, к примеру, хорошо обошелся, он тебя в стихах же и восхвалит, а если нет — проклянет тебя по-ирландски. Он был самый великий поэт во всей Ирландии и даже о кусте мог сложить песню, если ему случалось, скажем, под кустом стоять. Был один такой куст, под которым он спрятался от дождя и сложил ему хвалу в стихах, а потом, когда вода стала-таки протекать сквозь листья, сложил хулу». Она спела ту первую песню мне и моему другу²⁰ по-ирландски, и каждое слово в ней было звучным и сочным, какими и были, мне кажется, слова в каждой песне до тех пор, покуда музыка не зазналась и не расхотела быть простою одеждой для слов, текучих, изменчивых, с током ритмов и смыслов, берущих друг от друга силу. В песне не было той естественности и прямоты, что свойственна лучшей ирландской поэзии уходящего века, ибо мысль облечена в ней в форму слишком уж традиционную — старый, нищий, слепой наполовину поэт, сложивший ее, вынужден поэтому говорить как богатый фермер, готовый все свое достояние положить к ногам любимой женщины; но

²⁰ Речь идет о леди Огасте Грегори (1852–1932), известной ирландской писательнице и фольклористке.

есть в ней наивные и нежные строки. Часть песни перевел на английский мой друг, но большую часть перевели для нас сами крестьяне. Мне кажется, вы найдете в ней ту простоту ирландского стиха, которой недостает большинству переводов.

На все Божья воля, я к церкви шел.
Бил ветер, и дождь хлестал.
Попалась навстречу мне Мэри Хайнс,
И я полюбил ее в тот же миг.

Учтиво и ласково к ней обратился я,
Мне люди сказали, как с ней говорить,
Она же сказала мне: «Рафтери, слов не трать,
Ты можешь прийти ко мне в Баллили».

Сказала так, и я мешкать не стал,
Ноги — в пляс, и душа занялась,
Три поля всего-то прошли мы в тот день
И засветло были в Баллили.

Стаканы на стол и четверть вина
Поставила Мэри и села со мной
И сказала мне: «Рафтери, пей до дна,
Глубокий погреб в Баллили».

О звезда моя светлая, солнце в ночи,
О янтарноволосая доля моя.
Пойдешь ли со мной ты в воскресный день
И скажешь ли ты мне «да» при всех?

Что ни вечер, я песню сложу тебе,
И будет вино, коль захочешь вина,
Но, Господи, сделай легким мой путь,
Пока не дошел я до Баллили.

Сладок воздух на склоне холма,
Когда глянешь ты вниз на Баллили,
Когда ты выходишь в луга за орехами и ежевикой,
Звучит там музыка птиц и музыка ши.

Что толку в славе, когда цветы
Отдали свет твоему лицу?
И ни Богу на небе, ни людям холмов
Не затмить и не спрятать его.

Нет места в Ирландии, где б я ни прошел,
От рек и до горных вершин,
И до берега Лох Грейн, чьи скрыты уста,
Но нигде я не видел красы такой.

Светлы ее волосы, светел взор,
И сладки уста ее, словно мед.
Тебе цветы мои, гордость моя,
Цветок сияющий Баллили.

Такая она, Мэри Хайнс, прекрасна
И телом она, и лицом, и душой.
И если бы писарей сотню собрать,
Не хватит им жизни, чтоб описать ее.

Старый ткач, сын у которого ушел, говорят, однажды ночью с ши (то есть с фэйри) да так и пропал, рассказывал мне: «Не было ничего на свете красивее, чем Мэри Хайнс. Мать мне о ней рассказывала — как она не пропускала ни единого хёрлинга во всей округе, и где бы она ни появилась, одета она была всегда только в белое. Как-то раз за один день одиннадцать мужчин кряду попросили ее руки, и всем она отказала. Однажды в кабачке за Килбеканти на холме сидела целая компания тамошних парней, выпивали, как водится, и говорили о Мэри Хайнс, и один из них встал и отправился прямо к ней в Баллили; болото Клун тогда еще не засыпали, он забрел туда и свалился в воду, там его наутро мертвым и нашли. Она умерла от лихорадки, которая ходила в здешних местах как раз незадолго до голода»²¹. Другой старик рассказывал, что он видел

²¹ Имеется в виду Великий голод 1845–1847 годов, когда в результате неурожая картофеля в Ирландии погибли около миллиона человек.

ее совсем еще мальчишкой, но помнил прекрасно, как «самый сильный из наших мужчин, Джон Мэдден, помер из-за нее, потому что плывал каждую ночь через речку, чтобы добраться до Баллили, и в конце концов застудился». Вполне возможно, что они рассказывали об одном и том же человеке, потому как предание, переходя из уст в уста, способно умножаться до бесконечности. В Деррибрин, в горах Ахтга, местах безлюдных и диких, вряд ли сильно изменившихся с тех пор, как спелось в первый раз в древней теперь уже песне: «олень на вершинах Ахтга слушает волчий вой»²², но где жива еще память о прежней поэзии и прежнем достоинстве ирландской речи, живет одна старуха, которая помнит Мэри Хайнс. Вот ее слова: «Луна и Солнце никогда не светили с неба женщине столь красивой, кожа у нее была такая белая, что казалась голубой, и на каждой щеке — по маленькому пятнышку румянца». Еще одна старуха, которая живет неподалеку от Баллили, говорила мне так: «Я часто видела Мэри Хайнс, она была и впрямь красавица. Я видела и Мэри Моллой, которая утопла потом в речке, и Мэри Гэтри из Ардрахана, но обеим было до нее далеко, уж очень она была славная. Я и на поминках у нее была — столько она всего в жизни повидала. Она добрая была. Шла я, помню, как-то раз домой через нижнее поле и устала, просто сил нет, и кто, как не Ройзин Гледейл (Сияющий Цветок), вынес бы мне из дому стакан парного молока». Старуха имела в виду просто яркий светлый цвет, вроде серебряного, потому что хотя и говаривал про нее один тамошний же старик — он теперь уже умер, — что ей ведомо «лекарство от любой напасти», то самое, какое есть у сидов, но золота она в жизни видела слишком мало, чтобы помнить, какого оно цвета. Вот свидетельство еще одного человека, с побережья, неподалеку от

²² Из «*Silva Gadelica*» Стэндиша Хейза О'Грейди (1846–1928), историка и романиста.

Кинвары, слишком молодого, чтобы помнить Мэри Хайнс: «Все говорят, что теперь таких красивых людей уже нет; волосы у ней, говорят, были просто чудесные, цветом как золото. Она была бедная, но одевалась каждый день как на праздник, такая была аккуратная. А если она где-нибудь появлялась, люди начинали, раз ее увидев, друг друга из-за нее убивать, и очень многие были в нее влюблены, только вот умерла она совсем молодая. Люди, они так говорят: никто, мол, про кого сложат песню, долго не живет».

Тех, кем восхищаются люди, рано или поздно похищают сиды, которые умеют использовать всякого рода сильные людские чувства себе на пользу и могут сделать так, что отец сам отдаст им в руки своего ребенка, а муж — жену. Те, кого любят, те, кого добиваются многие, только тогда в безопасности, если каждый, кто глянет на них, скажет при этом: «Господи, благослови их». Старуха, которая спела мне песню, была уверена, что Мэри Хайнс «увели». Вот собственные ее слова: «Они ведь уводили и не таких красивых, и много, почему бы им не взять и ее тоже? А люди-то издалека приезжали, чтобы на нее посмотреть, может, и не все говорили: Господи, благослови ее». Старик, который живет у моря недалеко от Дьюраса, тоже не сомневается, что ее увели: «Кое-кто в наших краях помнит еще, как она приходила сюда на паттерн^{*}, и все говорят, что красивее девушки в Ирландии не было и нет». Она умерла молодой, потому что ее любили боги: может быть, когда-то давно поговорка эта²³, которую мы разучились понимать буквально, как раз и имела в виду подобный способ смерти: сиды ведь и есть боги. Эти бедные крестьяне в верованиях своих и чувствах на много веков ближе к древнему греческому миру, привыкшему

* *Паттерн*, или патрон, — праздник в честь святого.

²³ Имеется в виду греческая поговорка о том, что любимцы богов долго не живут.

видеть красоту отделенную от мутного потока видимых форм, чем ученые наши мужи. Она «слишком много повидала на своем веку»; но старики эти и старухи винят в том не ее, а всех прочих; память у них цепкая и злая, и на язык им лучше не попадаться, но, если речь заходит о ней, они просто тают на глазах, как растаяли когда-то троянские старцы, увидав идущую мимо стен Елену.

Поэт, прославивший ее на всю округу, сам был в западной части Ирландии не менее славен. Кое-кто считает, что Рафтери видел едва-едва, и говорят так: «Я видел Рафтери, он человек был темный²⁴, но и ему хватило глаз, чтобы ее разглядеть»; другим же помнится, что он был и вовсе слеп, хотя, может быть, правы и те и другие: он ведь мог окончательно ослепнуть к концу жизни. Предание каждое качество доводит до крайности, до совершенства, и если уж человек слеп, значит он никогда не видел света солнца. Как-то раз, когда я искал пруд *Na mna sidhe*, то есть тот, где видели женщину-фэйри, я спросил одного человека, как Рафтери мог видеть Мэри Хайнс и так восхищаться ею, если он был совершенно слеп. Он ответил: «Я и правда думаю, что Рафтери был слеп на оба глаза, но у слепых есть свой особый способ видеть мир, и у них есть власть знать больше и больше чувствовать, больше делать и о большем догадываться, чем у нас, у зрячих, им дан особый склад ума и особенная мудрость». И всяк скажет вам, что он был действительно мудрец, а как же иначе, он ведь был не только слепой, но и поэт. Тот ткач, слова которого о Мэри Хайнс я уже приводил, сказал о Рафтери: «Его поэзия была ему — дар от Всевышнего, ибо есть три вещи, которыми Всевышний оделяет людей, — поэзия, танец и умение себя вести. Поэтому в прежние времена человек совсем необразованный,

²⁴ В смысле «слепой», «слабовидящий». Ср.: Василий Темный.

человек, который только что спустился с холмов, умел вести себя лучше и знал куда больше, чем современный какой ваш ученый, у них-то это было от Бога»; а в Кули один человек сказал мне: «Когда он прикладывал к одной стороне головы палец, ему открывалось все, и он мог говорить, как по писаному»; и вот еще слова одного пенсионера из Килтартана: «Он стоял однажды под кустом и говорил, а куст отвечал ему по-ирландски. Некоторые говорят, что отвечал сам куст, но, скорей всего, в нем сидел какой-нибудь дух, и он мог ответить Рафтери на любой его самый сложный вопрос. Куст тот потом высох, он и сейчас еще стоит на обочине, по дороге отсюда в Рахасин». У него есть какая-то песня о кусте, которую мне так и не удалось разыскать, и кто знает, не она ли стала первоосновой этой истории, выварившись вдоволь в колдовском котле Предания.

Один мой друг говорил как-то раз с человеком, который был с Рафтери, когда тот умирал, но вообще-то принято считать, что умирал он в одиночку, а некий Мортен Гиллан рассказывал доктору Хайзу о том, как всю ночь от крыши домика, где он лежал, поднимался к небу столб света и что «те, кто сидел с ним, были ангелы», и в самой лачуге горел всю ночь яркий свет, «и отпевали его тоже ангелы. Ему была от них такая честь потому, что он был хороший поэт и пел такие духовные песни». Пройдет, быть может, не так уж много лет, и предание, привыкшее в котле своем вываривать бессмертные сущности из смертных форм, превратит Мэри Хайнс и Рафтери в поэтические символы: мученическая доля красоты, блеск и нищета мечты человеческой.

1900

* * *

Был я недавно в северном одном городишке и говорил с человеком, который в детстве жил в деревне, там же, невдалеке. У них принято было считать, что

если в семье, где красавцев прежде не водилось, рождается вдруг красивая девочка, то красота ее — от сидов и принесет одни несчастья. Он взялся тогда перечислять имена красивых девушек, которых он знал, и сказал, что от красоты никому еще проку не было. Это такая вещь, сказал он, которой следует гордиться, но и бояться ее следует не меньше. Жаль, что я не записал его слов прямо там, на месте, они были куда живописней, чем все мои воспоминания о них.

1902

Хозяин стад

К северу от Бен-Балбена и горы Коуп живет «крепкий фермер», хозяин стад, как стали бы его называть в Ирландии гэльской. Он гордится тем, что происходит по прямой линии от одного из самых воинственных средневековых кланов, и никогда никому не давал спуска, ни на словах, ни на деле. Есть один только человек, который умеет божиться и чертыхаться не хуже его, но человек тот живет далеко, в горах. «Отец ты наш Небесный, чем я, так меня распротак, заслужил такое наказание?» — по поводу оставленной где-то трубки; когда на ярмарке в базарный день идет торговля, никто, кроме того человека с гор, тягаться с ним в искусстве слова не в силах.

В один прекрасный день я как раз у него и обедал; вошла служанка и сказала, что пришел некий мистер О'Доннелл. Старик и обе его дочери разом как-то замолчали. Наконец старшая дочь подняла голову и сказала отцу пожалуй что несколько даже резко: «Выйди к нему и попроси его в дом, пусть отобедает с нами». Старик вышел; когда он вернулся, на лице у него явственно читалось облегчение: «Он говорит, что не станет у нас обедать». — «Выйди еще раз, — сказала дочь, — пригласи его в заднюю комнату и угости виски». Отец,

едва успевший доесть обед, повиновался угрюмо, и я услышал, как дверь задней комнаты — дочери шили там обыкновенно по вечерам — закрылась за ним и за гостем. Старшая дочь обернулась ко мне и сказала:

— Мистер О’Доннелл — здешний сборщик податей, в том году он поднял ставку, и, когда он к нам пришел, отец — он очень тогда разозлился — завел его в маслодельню, отослал работницу с каким-то поручением прочь и отругал его на все корки. «Ужо я докажу вам, сэр, — сказал ему О’Доннелл, — что закон в состоянии защитить своих слуг», а отец ответил ему на это, что свидетелей-то, мол, и не было. Потом отец устал наконец ругаться, и ему стало стыдно, и он даже пообещал О’Доннеллу проводить его короткой дорогой до дому. Но на полпути до поворота они наткнулись в поле на одного из отцовых работников, тот как раз пахал, и отец снова вспомнил о своих обидах. Он отослал работника опять же с поручением прочь и принялся на чем свет стоит ругать сборщика. Когда я об этом узнала, я просто вне себя была — да разве можно так издеваться над бедолагой вроде этого О’Доннелла; а когда мне пару недель назад сказали, что у О’Доннелла умер единственный сын и что он очень по нему горюет, я решила заставить отца впредь обращаться с ним по-хорошему.

Она пошла навестить кого-то из соседей, а меня ноги будто сами понесли к двери в заднюю комнату. Внутри явно ссорились. Разговор, скорее всего, опять зашел о налогах, потому как оба они перебрасывались то и дело какой-то цифирью. Я толкнул дверь; увидев меня, фермер вспомнил, очевидно, о миролюбивых своих намерениях и спросил меня, не помню ли я часом, куда он задевал виски. Я и впрямь вспомнил тут же, как он ставил бутылку в буфет; стараясь между делом разглядеть худое, потемневшее от горя лицо сборщика податей, я подошел к буфету и достал искомое. О’Доннелл был много старше, чем друг мой и хозяин, — сутулый, слабой комплекции старик, и тип был совершенно иной. Один — здоровый, крепкий, привыкший побе-

ждать, другой — из тех людей, чьи ноги словно задались целью не дать им за всю жизнь хотя бы раз присесть и отдохнуть. «Вы ведь из старых О’Доннеллов, — сказал я, — я даже знаю место на реке, где под водой пещера, в которой вы спрятали свое золото, и охраняет ее змей о многих головах». — «Так точно, сэр, — ответил он, — я последний из прямых потомков княжеского рода».

Мы принялись говорить о незначительных каких-то вещах, и когда наконец костлявый старый сборщик податей поднялся, чтобы идти, мой друг сказал: «Ну, на тот год, глядишь, пропустим еще по стаканчику». — «Нет-нет, — был ответ, — на тот год я буду уже в могиле». — «И мне тоже приходилось терять сыновей», — сказал ему собеседник, тоном примирительным и мягким. — «Не сравнивай твоих сыновей с моим сыном». И они разошлись, сверкая глазами от ярости, с горечью в сердце; мало того, не вставь я вовремя нужную пару слов, могли бы долго еще не расцепиться и спорили бы, долго и зло, о сравнительных достоинствах мертвых своих сыновей.

В конце концов хозяин стад одержал бы, конечно, победу. Единственный раз в жизни ему пришлось отступить; я записал с его слов, как было дело. Он играл с несколькими работниками в карты в маленькой пристройке к большому амбару, в которой давно когда-то жила одна старуха, совершеннейшая, по слухам, ведьма. Внезапно один из работников выбросил на стол туза и принялся безо всякой на то причины сыпать проклятиями. Он говорил вещи настолько страшные, что все вскочили на ноги, и друг мой сказал: «Тут дело нечисти; в него вселился чей-то дух». Они кинулись к двери, ведущей в амбар, чтобы убраться из лачуги по-доброму-поздорову. Деревянная щеколда словно выросла в косяк, и хозяину стад пришлось взять пилу, которая оказалась, по счастью, под рукой, у стены, и пропилила щеколду насквозь; дверь тут же распахнулась, хрястнув о косяк так, словно кто-то держал ее, а потом толкнул что было сил, и они со всех ног побежали оттуда вон.

Память сердца

Как-то раз один из моих друзей сидел у хозяина стада и делал с него набросок для портрета. Старикова дочь сидела рядом, и, когда речь зашла о любви и о постели, она сказала: «Слушай, отец, расскажи ему про твою любовь». Старик вынул изо рта трубку и сказал: «Никто и никогда не женится на женщине, которую он любит, — и далее, с усмешкой: — Их было человек пятнадцать женщин, которые нравились мне больше, чем та, на которой я в конце концов женился», — и он принялся перечислять имена тех женщин. А потом стал рассказывать, как, будучи совсем еще молодым парнишкой, работал на деда своего, отца матери, и как его даже называли в те времена (мой друг забыл, как оно так вышло) именем деда — ну, скажем, пусть это имя будет Доран. У него был тогда закадычный друг, назовем его Джон Бирн; и вот однажды они отправились оба в Квинстаун, куда должен был подойти эмигрантский корабль — Джон Бирн собирался отплыть на нем в Америку. Прогуливаясь по пирсу, они обратили внимание на странную группу из трех человек: на скамье сидела девушка и плакала, а перед нею ссорились двое мужчин. Доран сказал: «Я, кажется, знаю, в чем дело. Вон тот человек — ее брат, а *тот* — ее любовник, и брат отправляет ее в Америку, чтобы только она не досталась любовнику. Господи, как она плачет! но знаешь, мне кажется, я смогу ее утешить». Как только любовник и брат отошли куда-то, Доран тут же принялся перед нею прохаживаться и приговаривать: «Хороший денек сегодня, а, мисс?» — или что-то вроде того. Чуть времени спустя она ответила ему, и вскоре они уже болтали все втроем. Эмигрантского корабля ждали не один день; и они втроем катались по городу на империсалах омнибусов, в невиннейшем и самом что ни на есть счастливом расположении духа, и любовались всем, чем только можно было в Квинстауне полюбоваться. Когда корабль

наконец пришел, Дорану пришлось сказать ей, что он в Америку не едет, и она рыдала по нему куда отчаянней, чем по первому своему любовнику. Когда они садились на корабль, Доран шепнул Бирну на ухо: «Слушай, Бирн, для тебя мне ее не жалко, но только молодым не женись».

Когда история дошла до этой точки, старикова дочь сказала насмешливо: «Сдается мне, ты совет-то Бирну дал куда как дельный, а, отец?» Но старик продолжал настаивать, что он и *впрямь* желал Бирну одного только добра; и рассказал еще, как, получивши письмо с извещением об их помолвке, отписал Бирну тот же самый совет. Шли годы, а писем больше не было; и, хоть он был теперь женат, она все не шла у него из головы. В конце концов он собрался и поехал в Америку, но сколько он ни наводил там справок, все было без толку. Прошло еще немало лет, жена умерла, он был уже в годах, богатый фермер с целой кучей хлопот по хозяйству. И всё ж таки он отыскивал ничтожный какой-то предлог, чтобы съездить еще раз в Америку и снова попытаться найти ее. В один прекрасный день он разговорился, там уже, в железнодорожном вагоне с каким-то ирландцем и принялся, по обыкновению своему, выспрашивать его об эмигрантах из разных знакомых ему мест; в конце концов он спросил: «А о дочке мельника из Иннис-Рат ты когда-нибудь слышал?» — и назвал имя женщины, которую искал. «Да, конечно, — тут же откликнулся его собеседник, — она вышла замуж за моего друга, за Джона Мак-Ивинга. А живет она в Чикаго, на такой-то улице». Доран отправился в Чикаго и постучал в указанную дверь. Она открыла дверь сама, и «ничуточки не переменилась». Он назвал ей настоящее свое имя — он снова взял его после смерти деда — и имя человека, с которым познакомился в поезде. Она его не узнала, но пригласила остаться к обеду, сказав, что муж ее будет рад любому, кто знаком со старым его другом. Они о многом успели поговорить, но за весь тот вечер, я не знаю почему, да и сам он, думаю, не

смог бы сказать почему, он ни разу не сказал ей, кто он такой. За обедом он спросил ее о Бирне; она уронила голову на руки и принялась плакать, и плакала так долго и горько, что он испугался даже, как бы муж ее не рассердился всерьез. Он так и не отважился спросить, что же случилось с Бирном, и вскоре ушел, чтобы никогда больше с ней не встречаться.

Когда старик закончил свой рассказ, он сказал: «Передайте все это мистеру Йейтсу, может, он напишет о нас обо всех стихи». На что его дочь откликнулась тут же: «Ну нет, отец. О подобной женщине никто стихов писать не станет». И вот какая жалость! Я и в самом деле не написал стихов; быть может, потому, что на сердце мое — а оно, сколько ни помню себя, всегда любило без памяти Елену и прочих всех хорошеньких, но непостоянных женщин — легла бы слишком уж тяжелая ноша. Есть вещи, которых лучше долго в себе не носить, вещи, для которых лучше простых, голых слов оправы и не придумаешь.

1902

Чернокнижники

В Ирландии редко слышишь о силах однозначно темных*, а встречать людей, имевших личный в этом смысле опыт, мне доводилось и того реже. Народное воображение здесь склонно скорее к причудливому, к фантастическому, а причуды фантазии теряют свободу свою, а с нею и всякий смысл, когда их увязывают накрепко — с добром ли, со злом. Я и в самом деле нечасто встречал в Ирландии людей, пытавшихся на-

* Я не стал бы и теперь выражаться столь же категорично. Злых духов у нас куда больше, чем мне тогда казалось, но все же не так много, как в Шотландии, и я продолжаю пребывать в уверенности, что народное воображение в нашей стране склонно скорее к причудливому и фантастическому.

ладить связь с силами тьмы, и те, с кем все-таки свела меня судьба, тщательнейшим образом скрывали как цель свою, так и средства к ее достижению от глаз живущих с ними рядом. В основном это мелкие клерки, и встречаются они для демонологических своих изысканий в задрапированной черным комнате, однако в каком эта комната находится городе, я не скажу. В самую комнату они меня не допустили, но, обнаружив, что в материях оккультных я не то чтобы совсем уж новичок, решили продемонстрировать умения свои на нейтральной территории. «Приходите к нам, — сказал мне их наставник, — и мы покажем вам духов, которые будут говорить с вами лицом к лицу, и в телах столь же тяжелых и плотных, как ваше собственное тело».

Я говорил с ним о возможности общения в состоянии транса с существами ангельской природы и с фэйри — с детьми света и сумерек, — он же убеждал меня в том, что верить следует только тому опыту, который получен нами в привычном, обыденном состоянии духа. «Хорошо, — сказал я, — я приду, — или что-то в этом же роде, — но я не дам себя загипнотизировать и постараюсь на личном опыте убедиться, действительно ли те формы, о которых вы мне говорили, плотнее на ощупь, чем те, о которых говорил я». Не то чтобы я отрицал способность инородных существ являться нам в обликах из смертной плоти; я сомневался только в действительности простейших заклинаний, вроде тех, о коих шла речь. Они могут, конечно, ввести человека в транс, но не более того.

«Но мы своими глазами видели, — сказал он, — как духи передвигали по комнате мебель, и, если мы прикажем, они вредят или, наоборот, помогают людям, которые о них и знать не знают». Я стараюсь передать не сказанные в тот день слова, но самый смысл нашего разговора.

В назначенный вечер я пришел около восьми часов и застал наставника одного в маленькой задней ком-

нате, почти совершенно темной. Он был одет в черную мантию с капюшоном, вроде инквизитора на старой гравюре, из-под которой видны были только глаза, глядевшие сквозь две маленькие круглые дырочки. На столе перед ним находились: блюдо с горящими травами, большая чаша, череп, кругом исписанный тайными знаками, два лежащих крест-накрест кинжала и еще какие-то предметы, назначения которых я так и не понял, по форме напоминающие жернова. Я также надел на себя черную мантию; помнится, она была мне не по размеру и очень мешала. Затем чернокнижник вынул из корзины черного петуха, перерезал ему горло и дал крови стечь в чашу. Он открыл книгу и принялся читать заклинание — не по-английски и не по-ирландски, звуки были все больше глубокие, гортанные. Прежде чем он кончил читать, вошел еще один чернокнижник, молодой человек лет двадцати пяти, и, надевши также мантию, сел слева от меня. Заклинатель духов сидел прямо напротив, и вскоре я почувствовал, что глаза его, поблескивавшие время от времени в прорезях капюшона, странным образом на меня влияют. Я что было сил стал сопротивляться внушению, и у меня разболелась голова. Затем наставник встал и выключил в коридоре свет, так чтобы сквозь щель под дверь не просачивался даже лучик его. Единственным источником света были теперь тлеющие тихо на блюде травы, а единственным звуком — глухой гортанный речитатив заклинателя духов.

Внезапно человек, сидевший слева от меня, пошатнулся и выкрикнул: «О Господи! О Господи!» Я спросил его, что случилось, но он, как оказалось, даже не отдавал себе отчета в том, что вообще открывал рот. Минуту спустя он сказал, что видит огромную змею, ползущую через комнату, и сделался очень возбужден. Никаких конкретных форм я не видел, казалось только, что черные, смутных очертаний облака ходят вокруг меня. Я почувствовал, что если не буду бороться, то ско-

ро впаду в транс, и что воздействие, которому я подвержен, по сути своей дисгармонично, или, иными словами, бесовское и впрямь. Я боролся как мог и вскорости, отделавшись от черных облаков, смог опять положиться на обычные свои пять чувств. Оба чернокнижника начали уже видеть бродящие по комнате белые и черные колонны и в конце концов человека в монашеской рясе; они были крайне удивлены, что я не вижу того же, потому как для них призраки эти были так же осязаемы, как стоящий перед ними стол. Сила заклинателя духов все нарастала, и мне стало казаться, будто тьма волнами изливается из него и собирается вокруг меня в подобие кокона; человек слева от меня отключился совсем. Последним усилием воли, собравши все свои силы, я отогнал облака тьмы прочь; я понял, что, не позволив ввести себя в транс, большего не увижу, а поскольку черные эти облака особой любви у меня не вызывали, я попросил включить свет и, после необходимого экзорцизма, вернулся в обыденный мир.

Я спросил у того из чернокнижников, что был сильнее: «А что бы случилось, если бы один из ваших духов одолел меня?» — «Вы бы ушли из этой комнаты, — ответил он, — вдвоем». Я попытался расспросить его также и об истоках его искусства, но ничего особо важного не узнал, кроме того, что заклинаниям его научил отец и что одно из слов, чаще других повторявшееся в тексте, было арабское. Большого он мне сказать не мог, ибо, судя по всему, дал обет хранить тайну.

ДЬЯВОЛ

Моя старуха из Мэйо сказала мне однажды: она видела, как прямо по дороге в деревню явилось нечто и вошло в дом напротив, имен она не называла, но я понял и так. На другой день она рассказала о двух своих

подругах, которых кто-то — они уверены, что Дьявол собственной персоной, — едва не затащил в постель. Одна из них стояла на обочине дороги; он ехал на лошади мимо и предложил ей сесть сзади него в седло и покататься с ним на пару. Когда она отказалась, он просто-напросто растаял. Другая стояла прямо на дороге поздно ночью и ждала своего парня, как вдруг по дороге, из темноты, вылетело нечто, хлопая, перекатываясь то и дело вверх тормашками. Издалека оно похоже было на газету, а когда подлетело ближе, прямо ей в лицо, она даже прикинула по формату, что это, должно быть, «Айриш-Таймс». И вдруг газета исчезла, и перед ней очутился молодой человек, предложивший ей тут же пойти с ним прогуляться. Она отказалась, и он тоже исчез.

Знал я и еще одного старика, со склонов Бен-Балбена, у которого Дьявол поселился прямо под кроватью и звонил по ночам в колокольчик. Тогда он пошел поздно вечером в часовню, украл там колокол и вызвонил беса вон.

Теологи счастливые и несчастливые

I

Моя старуха из Мэйо сказала мне однажды: «Знавала я одну служанку, которая повесилась из любви к Богу. Она очень тосковала по своему священнику и по обществу* и повесилась на перилах, на шарфике. Не успела она отойти, как стала вся белая, точно лилия, а будь то убийство или самоубийство — она была бы чернее сажи. Погребли ее по-христиански, а священник сказал, что только она умерла, и уже была с Отцом

* Имеется в виду религиозное общество, к которому она принадлежала.

нашим Небесным. Вот так, что ты ни делай, а если делаешь это из любви к Богу, все будет к лучшему». Удовольствие, с которым она рассказывала мне эту историю, вовсе меня не удивило: все святое и светлое так близко ей, что словно бы само собою просится на язык. Как-то раз она сказала мне, что все, о чем бы ни говорили на службе в церкви, она потом видит собственными своими глазами. Она описывала мне врата Чистилища такими, какими они явлены были глазам ее, но я ничего из ее описания не помню, кроме разве того обстоятельства, что душ страждущих она не видела вовсе, а только врата. Такое впечатление, будто и в голове у нее сплошь одна красота и благодать. Она спросила меня однажды, какой цветок и какой месяц самые что ни на есть красивые. Когда я ответил: «Не знаю», она тут же сказала сама: «Месяц май, из-за Девы, невесты²⁵, и ландыш, лилия долины, потому что она никогда не грешила и чистою вышла прямо из камня». А потом спросила еще: «Почему в году есть три холодных месяца, зима?» Я даже и этого не знал, и она сказала ответ: «Человеческий грех и возмездие Божие». В ее глазах Христос не только был свят, но и совершенно безупречен с земной, телесной точки зрения, красота и святость были для нее теснейшим образом взаимосвязаны. В нем, единственном из всех мужчин, было ровно шесть футов росту, все же прочие были чуть выше или чуть ниже.

Мысли ее и взгляды относительно фэйри также не лишены красоты и приятства, и я никогда не слышал, чтобы она их называла падшими ангелами. Они такие же люди, как мы, только красивее, и сколько раз она

²⁵ Очевидно, имеется в виду толкуемое обыкновенно мистически место из Песни Песней, где невеста сравнивается с лилией долин, цветущей, кстати, в Леванте в апреле-мае. «Я нарцисс саронский, лилия долин! Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами» (2: 1–2). Ландыш по-английски буквально — лилия долин.

подходила к окну, только чтобы посмотреть, как они едут по небу в крытых своих фургонах, фургон за фургоном, без конца и без края, или к двери, чтобы послушать, как они там поют и танцуют на речке у брода. Поют они, кажется, по преимуществу одну и ту же песню под названием «Далекий водопад», и, хоть они ее как-то раз и уронили на ровном месте, она о них ни разу даже не подумала плохо. Чаще всего ей приходилось с ними встречаться в графстве Кингс, когда она работала там в услужении; однажды утром, не так давно, она сказала мне: «Вот вчерась ждала я хозяина, и время было четверть двенадцатого. Вдруг слышу, стучат мне по столешнице, снизу. Я им и говорю: „Эй, тут вам не графство Кингс“. Аж самой смешно стало, смеялась, чуть не обмерла. Это они мне намекали, что я засиделась поздно. И что, мол, пришло уже их время». Я рассказал ей об одном человеке, который увидел фэйри и упал в обморок, и она ответила мне тут же: «Это не фэйри был, это нечисть какая-нибудь, от фэйри в обморок никто не падает. Это бес был. Они вот меня однажды ночью вместе с кроватью чуть через крышу на двор не вынесли, и то я не испугалась. Я и недавно не напугалась; вы как раз работали, а я слышу, вверх по лестнице шлепает что-то склизкое, будто угорь, и тихонечко так повизгивает. Оно ко всем дверям подошло, по очереди. Ко мне-то, если бы даже и отперто было, не сунулось бы. А не то летело бы за тридевять земель, и с присвистом. Был у нас в деревне один парень, ничего человек не боялся, так вот он одного из них так обломал, любо-дорого. Даже сам пошел к нему на дорогу ночью, но он-то сам слова какие-то знал. Хотя соседей лучше, чем фэйри, нет и быть не может. Если ты к ним хорошо, так и они к тебе хорошо, только не становись у них лишний раз поперек дороги». А в другой раз она мне сказала: «Они никогда не делают зла людям бедным».

II

И есть, однако же, в голуэйской одной деревушке человек, который ничего, кроме нечисти, вокруг как будто и не видит. Иные считают его святым, иные — чокнутым²⁶ слегка, но речи его иногда напоминают древние ирландские «видения» о Трех Мирах, те самые, которые предположительно дали Данте основу для плана к «Божественной комедии». Я только не могу себе представить, чтобы человеку этому явилось видение Рая. Особенно он зол на фэйри и в доказательство сатанинской их природы приводит козлоноготь, действительно среди них, детей Пана, весьма распространённую. Он не утверждает наверное, что «они крадут женщин, хотя многие о них такое говорят», но в одном он совершенно уверен: «Их среди нас что песка морского, и они несчастных смертных вводят во искушение». Вот его слова: «Слышал я об одном священнике, тот все ходил и глядел в землю, как будто искал чего-то, и вот ему был голос: „Если ты ищешь видеть их, ты их увидишь в достатке“, и тут глаза его отворились, и он увидел, что вся земля кишит ими сквозь. Они то петь вдруг принимались, то плясать, но на ногах у них у всех были копыта».

Сам он к поющим и пляшущим этим исчадиям ада относится между тем весьма презрительно и уверен, что стоит только сказать им «изыди», и они исчезнут. «Я сам, — рассказывает он, — вышел как-то поздно вечером из Кинвары и пошел напрямик, вон там, через лес, чую, увязался один за мной, как будто на лошади едет, и ноги так тяжело опускает, но звук не как от лошадиного копыта. Я тогда стал, обернулся и говорю ему, громко так: „Изыди!“ — и он исчез, и никогда

²⁶ В качестве примера приводят обычно «Fis Adamnán» — «Видение Адамнана», приписываемое св. Адамнану, аббату Айоны (625–704).

мне потом не мешал. И еще я знал человека, он когда умирал, один забрался к нему прямо в койку, а тот как заорет на него: „Вон отсюда, тварь нечистая!“ — тот и впрямь ушел. Падшие ангелы, вот кто они такие, и когда они пали, Бог сказал: „Да будет Ад“ — и тут же стал Ад».

Старуха, сидевшая до той поры тихо у очага, вмешалась в разговор и сказала: «Спаси нас Господь, зря он так сказал, а то, глядишь, и не было бы Ада до сих пор», но духовидец на ее слова внимания не обратил. Он продолжал говорить: «А потом он спросил у дьявола, что тот возьмет за души всех смертных людей. И дьявол отвечал: ничего, только кровь сына девы, и он ее получил, и тогда растворились врата адские». Историю эту он понимал так, словно она была одной из старых народных полупритч-полусказок.

«Я сам видел Ад. Один только раз, но было мне такое видение. Вокруг него стоит высокая стена, вся железная, в ней ворота, и к ним прямая дорога, совсем как в господский сад, и только по краям не кусты самшита, а каленое железо, докрасна. А за стеною все мостовые, я точно не помню, что там было по правую руку, но по левую стояли огромные печи, и множество душ было там приковано, внутри, железными цепями. Я тогда повернулся и пошел прочь, но оглянулся все ж таки и увидел, что стене той конца нет.

А в другой раз я видел Чистилище. Оно на ровном вроде месте, и стен там нет, но все оно как жаркий один костер, а в нем стоят души. И страдают они разве чуть меньше, чем в Аду, только чертей там нет, и у душ есть надежда на Небо.

И я услышал зов ко мне оттуда: „Помоги мне“. И когда я взглянул, увидел человека, я знал его раньше, в армии, он ирландец, из этих самых мест, и он потомок короля О'Коннора из Атенри²⁷.

²⁷ *Рори О'Коннор* (1116–1198) — последний из верховных королей Ирландии.

Тогда я протянул было руку, но потом крикнул ему: „Я сгорю дотла, прежде чем подойду к тебе на три ярда“. И он тогда сказал: „Что ж, тогда молись за меня“. Что я и делаю.

Вот и отец Коннелан говорит то же самое: помогайте, мол, мертвым молитвою вашей; а он человек очень умный, и служит службу, и у него полным-полно всяких чудодейственных снадобий, настоянных на святой воде, которую он сам привез аж из Лурда».

Последний глимен²⁸

Майкл Моран родился где-то около 1794 года в дублинском пригороде Блэк-Питтс, на Фэддл-элли. Когда ему исполнилось две недели от роду, он заболел и в результате ослеп совершенно, а потому для родителей своих стал благословением Божьим, ибо вскорости они получили возможность посылать его петь и попрошайничать на углах дублинских улиц или же на мостах через Лиффи. Им, кстати, оставалось только пожалеть, что не все их дети уродились такими же точно, потому как, несмотря на слепоту, мальчишка был не по годам остер и каждую житейскую мелочь, каждое движение кипящих вокруг страстей человеческих преображал тут же в стих или же в причудливую до афористичности фразу. Едва успевши достичь совершеннолетия, он был уже признанным пастырем диковатого стада местных балладотворцев — Мэддена, ткача, Кирни, слепого скрипача из Виклоу, Мартина из Мита, Мак-Брайда из бог знает откуда, Мак-Грейна, того самого Мак-Грейна, который впоследствии, когда настоящего Морана уже не стало, рядился в чужие перья или, скорее, в чужие

²⁸ Сказитель, исполнитель (без аккомпанемента) народных песен, прибауток и т. д.

отрепья и клялся прилюдно в том, что, кроме него самого, и не было никогда никакого Морана и многих прочих. Не помешала ему слепота обзавестись также и женой; более того, он мог себе позволить привередничать и выбирать одну из многих, потому как именно и представлял собой столь дорогую сердцу женщины помесь босяка и гения; ведь женщина, сколь ни будь она сама привержена формам и нормам мира сего, была и есть равнодушна ко всему неожиданному, ко всему, что ковыляет непрямой дорогой и сбивает с толку людей порядочных. И жил он отнюдь не в нищете, хоть и ходил всю жизнь в отрепьях, напротив, он почти ни в чем себе не отказывал; он, говорят, очень уважал каперсный соус, и как-то раз, когда жена об этой его особенности забыла, запустил ей в голову бараньей ножкой. Зрелище-то он собой представлял, конечно же, не самое завидное, в грубом своем бушлате из ворсистой шерстяной ткани, с капюшоном и зубчатыми полами, в плисовых штанах, в огромных растрескавшихся башмаках и с ореховой палкой, привязанной накрепко кожаным ремешком к запястью; и я представляю, какая горькая печаль снизошла бы на душу глимена Мак-Куанлинна²⁹, доведись ему, другу королей, узреть через века с верхушки Коркского столпа далекого своего потомка. И все-таки, пусть вышли давным-давно из моды короткий плащ и кожаный жилет, он был истинный глимен, для народа своего разом и шут, и поэт, и ходячая сводка новостей. Утром, после завтрака, жена или кто-нибудь из соседей читали ему вслух газету, вдоль и поперек, и не по одному, бывало, разу, куда он не останавливал их сам словами: «Все, будет, таперча буду думать», и из этого «думанья» рождалась постепенно дневная норма баек и прибауток. Под грубою

²⁹ Речь идет об «Aislinge Meic Conglinne» — «Видении Мак-Куанлинна», созданной в XII веке пародии на жанр видений, в которой Мак-Куанлинн, странствующий школяр, высмеивает коркских монахов.

тканью бушлата он носил в себе огонек средневековья, пусть тлеющий едва-едва, но живой.

Чего он, кстати, не унаследовал от Мак-Куанлинна, так это ненависти к церкви и церковникам, и ежели случалось так, что плоды раздумий не желали в должной мере вызреть или же собравшаяся аудитория требовала чего посерьезней, он читал или пел с голоса какую-нибудь историю, а то и балладу о святом, о мученике или о ком-нибудь из персонажей библейских. Он вставал на углу, ждал, пока не соберется вокруг него толпа, и начинал таким вот манером (я пользуюсь свидетельством человека, который знал его лично): «Ну, ребята, сбивайтесь в кучу, сбивайтесь в кучу. Кто скажет мне, я часом не в луже стою? я не на мокром стою месте?» Кто-нибудь из мальчишек кричал обыкновенно: «Не! не в мокром! сухо там у тебе. Давай про Святую Марию; не, давай про Моисея, давай, а?» — и каждый выкрикивал название любимой своей сказки. Тогда Моран, передернувши всем телом, хватал себя за лацканы бушлата и взрывался вдруг: «Все мои дружки сердечные, все скурвились совсем, тьфу, пакость»; и, предупредивши на всякий случай еще раз — от греха — уличных мальчишек: «Ежели вы, говнюки, не перестанете пакостничать, я-то вам покажу, ужо я вам», начинал говорить, если не позволял себе напоследок еще одну оттяжку: «Ну, что, народ-та вокруг собрался? Все тут добрые христьяне иль затесался какой поганый еретик?» А не то вступал сразу и в голос:

И стар и млад ступай суда,
Такие тут дела.
Я вам спою, а мне ба
Старушка Салли принесла
Мою краюшку хлеба.

Самое знаменитое из религиозных его повествований именовалось «Святая Мария Египетская», представляло собой длинную, серьезную до жути поэму

и являлось, по сути, выжимкой из еще более обширного труда некоего епископа Кобла. Речь в ней шла о том, как одна египетская продажная женщина по имени Мария отправилась однажды с группой паломников в Иерусалим из соображений чисто профессиональных, а потом, когда сверхъестественная сила помешала ей переступить порог храма, раскаялась вдруг, удалилась в пустыню и провела остаток жизни своей в одиночестве и покаянии. Когда она собралась наконец помирать, Господь послал к ней епископа Зосиму, чтобы тот отпустил ей грехи, причастил ее перед смертью и с помощью одного тамошнего льва, им же посланного Зосиме в помощь, вырыл ей могилу. Поэма эта вобрала в себя все самое худшее из назидательной поэзии образца VIII века, но была притом настолько популярна и так по сей причине часто исполнялась, что Моран получил даже прозвище — Зосима, под которым многие еще и до сих пор его помнят. Был у него еще один собственного сочинения шедевр, под названием «Моисей», который к поэзии лежал чуть ближе, но все ж таки на расстоянии вполне для обеих сторон безопасном. Однако же штиль торжественный и высокопарный был натуре его противопоказан, и по исполнению, так сказать, передовицы он сам же ее и пародировал таким вот босяцким совершенно манером:

В земле Египетской, где воду пьют из Нила,
Девчонка фараонова скупнуться раз решила.
Макнулась, в общем, и на берег — шась.
Побаловаться, значить, в камышах.
И вдруг, завместо милого дружка,
Робенка в люльке тащит с бережка
И говорит подружкам тихо так, спокойно:
«Девчонки, это чье ж оно такое?»

Однако же чаще всего он прокатывался в острых и злых своих виршах насчет современников. Особенное удовольствие ему доставляло, к примеру, напомнить

ненавязчиво одному сапожнику, который, хвастаясь направо и налево своим достатком, был притом известный всей округе грязнуля, о весьма незавидном происхождении и самого сапожника, и его денег — песенкой, от которой до нас, к сожалению, дошла одна только первая строфа:

Нет дома в Дублине грязней,
Чем тот, где гадит Дик Мак-Лейн.
Жена его — округе всей
Известная сирена.

Она за совесть, не за страх
Медяк сшибает на углах,
А муж, разодевшись в пух и прах.
Подался в джентльмены.

Ханжей таких не видел свет,
Мак-Лейнам сроду сраму нет,
И весь их клан на том стоит,
Откуда ж будет стыд.

Трудностей у него хватало, и самого разного сорта, вплоть до многочисленных самозванцев, с коими ему приходилось вступать в состязание до полного их и публичного посрамления. Как-то раз один полицейский, преисполнившись служебным рвением, арестовал его за бродяжничество, но был под смех суда присяжных наголову разбит одним-единственным замечанием Морана, который, обратившись к судье, напомнил его милости о прецеденте³⁰, созданном во время оно Гомером, каковой также, по уверению Морана, был поэт, слепой поэт, и нищий слепой поэт в придачу. Слава его росла, и проблем становилось все больше. Всяческого рода подражатели буквально проходу ему не давали. Некий

³⁰ Британская система судопроизводства, не имеющая жесткого уголовного уложения, целиком основана на системе прецедентов, решений, вынесенных когда-либо по сходному делу.

актер, к примеру, заколачивал по гинее на каждый заработанный Мораном шиллинг, просто-напросто копируя фразы его, песни и саму его манеру на сцене. Однажды актер сей ужинал с друзьями, и между ними возник спор — не переигрывает ли он в роли Морана. За третейским судом решили обратиться к толпе. Ставкой был обед ценою в сорок шиллингов в знаменитой тамошней кофейне. Актер встал на Эссекс-бридж, там, где являлся обыкновенно Моран, и вскоре вокруг него собралась небольшая толпа народу. Не успел он добратся до конца «В стране Египетской, где воду пьют из Нила», как невдалеке показался и сам Моран собственной персоной, и тоже не один. Зрители смеялись, возбуждены были крайне, и число их сразу же удвоилось — имело смысл ожидать чего-то интересного. «Люди добрые, — возопил претендент, — возможно ли, чтобы нашелся человек настолько бессовестный, чтоб насмеяться над бедным темным стариком?»

— Кто там кричит? — отозвался тут же Моран. — Гоните его, он самозванец.

— Изыди, несчастный! сам ты самозванец и есть. Неужто ты не боишься, что Небо отымет свет и у твоих глаз за то, что ты стал насмеяться над человеком бедным и темным?

— Святые угодники и ангелы на небеси, да неужели никто меня не защитит? Ты самый что ни на есть гнусный проходимец, ты нелюдь, раз отбиваешь у меня мой честный кусок хлеба, — отвечал бедняга Моран.

— А ты, ты, несчастный, зачем ты мешаешь мне петь? Народ христианский, неужто в милости твоей ты не прогонишь человека этого тумачами прочь? Он пользуется тем, что беззащитен я и темен.

Убедившись, что победа осталась за ним, претендент поблагодарил «людей добрых» за доброту их и за то, что они не дали его в обиду, и принялся опять декламировать стихи. Некоторое время Моран, озадаченный

донельзя, молча его слушал. Потом снова принялся возмущаться:

— Да нешта никто из вас мне не помнит? Вы что, поослепли все разом? Я ж вот он я, а тот — и не я совсем!

— Прежде чем я продолжу прекрасный сей рассказ, — тут же перебил его самозванец, — я обращусь к вам, добрые христьяне, подайте кто сколько может, чтобы легче мне было рассказывать дальше.

— У тебе что, души и вовсе нет, ты, надсмешка над подобием Господним? — оскорбленный до глубины души этою последней обидой, Моран был уже просто вне себя от ярости. — Грабь, грабь нищего, нехристь, ты хочешь, видать, чтобы весь мир с тобою вместе поглотило пламя адское? Слыханные ли дела творятся, люди добрые?

— Вот люди пускай и рассудят, — сказал самозванец, — кто здесь на самом деле слепой, а кто — нет, решайте, друзья мои, и избавьте меня от этого прохвоста, — и с этими словами принялся собирать монетки — все больше пенсы и полпенни.

Пока он собирал свой урожай, Моран затанул «Марию Египетскую», и негодующая толпа, которая и вовсе собралась уже было наломать ему спину его же посохом, остановилась, пораженная невиданным сходством Морана с самим собой. Самозванец кричал уже, чтобы люди «вот только допустили его до этой сволочи, и он-то ему ужо покажет, кто здесь самозванец». Его и впрямь подвели к Морану, однако, вместо того чтобы сцепиться с ним, он сунул ему в руку пару шиллингов и, обернувшись к толпе, объяснил, что он и в самом деле всего лишь актер и что сделал он все это на спор, после чего удалился под общий хохот и аплодисменты, чтобы съесть выигранный таким образом ужин.

В апреле 1846-го к тамошнему приходскому священнику пришел человек и сказал, что Майкл Моран умирает. Священник нашел его в доме номер 15 (ныне 14^{1/2})

на Патрик-стрит, в кровати, на соломенном тюфяке, и комната забита была до отказа оборванными уличными певцами, пришедшими скоротать с ним последние его часы. Когда он умер, певцы собрались еще раз, со всеми своими скрипками, и закатили по нему поминки по первому разряду: каждый в общее веселье внес подобающую лепту — балладу, байку, пословицу или стишок на случай. Он свое пожил, он за себя помоллся сам, и грехи ему священник отпустил, так почему бы им не проводить его как подобает, от всей души? Похороны назначили на следующий день. В катафалк с гробом вместе набилась изрядная компания друзей его и почитателей, потому как шел дождь и вообще погода выдалась на удивление мерзкая. Едва они успели тронуться с места, как один из них выпалил вдруг: «Жуть, холод-то какой, а?» — «И нь' говори, — отозвался другой, — пока на жареной бугор доедем, все закоченеем, что твой покойник». — «Ну, старый, учудил, — сказал третий, — не мог, што ль, в другой какой месяц помереть, чтоб погода-ть' хоть устоялась». Тогда человек по имени Кэрролл достал полпинты виски, и все они выпили за упокой души усопшего. К несчастью, катафалк и впрямь оказался перегружен — на полпути у них полетела рессора, и в суматохе бутылка разбилась.

Regina, regina pigmeorum, veni*

Как-то вечером один средних лет человек, прошедший всю жизнь свою вдали от дребезжания колес по городским булыжным мостовым, молоденькая девушка, его родственница, которая, по слухам, обладала до-

* Королева, королева маленького народца, приди (лат.) — этими словами пользовался как заклинанием в Виндзорском лесу Лилли, астролог.

статочными духовидческими способностями, чтобы наблюдать неизвестного происхождения огоньки, танцующие тихо в полях между стад, и сам я, собственной персоной, шли по песку вдоль берега моря, на крайнем западе страны. Мы говорили о Народе Забвения, как иногда называют здесь фэйри, и за разговором дошли до всем в тех краях известного их обиталища — до неглубокой пещеры в черных базальтовых скалах, отражавшейся, как в воде, в мокром морском песке. Я спросил у девушки, не видит ли она чего: мне было о чем спросить у Народа Забвения. Несколько минут она стояла совершенно тихо, и я заметил, что она погружается постепенно в некое подобие транса — холодный морской бриз вовсе перестал ее беспокоить и монотонный гул набегаящих волн, очевидно, совершенно для нее смолк. Я выкрикнул громко несколько имен — все имена великих фэйри, и буквально через несколько секунд она сказала, что слышит откуда-то изнутри скалы музыку, потом — отдаленные голоса и согласный топот ног о камень, так, словно собравшиеся люди приветствовали невидимого нам артиста. До самой до этой минуты приятель мой ходил взад-вперед чуть в стороне, в нескольких ярдах от нас, теперь же он подошел к нам вплотную и сказал, что нам, наверное, придется отложить на время наш эксперимент, потому что сюда идут люди, он-де слышит между скалами детский смех. Духи места и его не обошли своим вниманием. Девушка тут же согласилась с ним и сказала, что сквозь музыку, голоса и топот ног она тоже слышит взрывы смеха. Потом она увидела, как пещера стала глубже и из самой глубины ее заструился свет, а с ним явилось множество маленьких человечков* в разноцветных

* Ирландские фэйри, насколько я знаю, иногда бывают одного с нами роста, иногда несколько выше, иногда же всего около трех футов от земли. Старуха из Мэйо, на которую я так часто здесь ссылаюсь, уверена, что это у нас в глазах есть нечто такое, отчего они кажутся нам то большими, то маленькими.

одеждах, красных по преимуществу, и все они танцевали под музыку — мелодии такой ей прежде слышать не доводилось.

Затем я попросил ее обратиться к королеве маленького народца — пусть она явится и поговорит с нами. Она так и сделала, но ответа не последовало. Тогда я сам повторил слова заклęcia, громко, и через секунду она сказала, что из пещеры вышла женщина, высокая и очень красивая. К этому времени я тоже впал в некое подобие транса*, и то, что принято называть ирреальным, стало понемногу, но весьма уверенно обретать для меня зримые формы; у меня возникло такое ощущение — не то чтобы я увидел, но именно ощутил — золотое шитье и темные волосы. Я попросил девушку передать королеве, чтобы она вывела из пещеры своих подданных по племенам и коленам, так чтобы мы смогли их разглядеть. Как и прежде, мне пришлось повторить приказ свой самому. Маленький народец и впрямь буквально валом повалил из пещеры, выстро-

* Слово «транс» здесь уместно не вполне. Мак-Грегор Мэйторс и его последователи научили меня понимать под трансом состояние, вызванное в человеке волею и через посредство собственного воображения. Девушка была, несомненно, в самом настоящем трансe, приятель же мой настолько подпал под ее влияние, что услышал детские голоса словно бы в обычном, физическом мире и «здешними» своими ушами. Чуть позже, как минимум дважды, ее транс подействовал так же и на меня, и я тоже слышал и видел часть из того, что видела и слышала она, но так, словно бы «работали» мои физические глаза и уши.

Мэйторс Мак-Грегор (1854–1918) — лидер и духовный наставник розенкрейцерского общества «Герметический орден Золотая Заря», членом которого Йейтс стал в 1890 году. Позже, на рубеже веков, отношения между Мэйторсом и Йейтсом, занимавшим к тому времени в «Золотой заре» достаточно высокое положение, стали довольно сложными, но интерес к этому человеку Йейтс сохранил до конца своих дней. Еще один из сквозных персонажей и alter ego Йейтса, спиритуалист и декадент Майкл Робартес, соотносится именно с этой фигурой. — *Примеч. перев.*

ившись, насколько я помню, в четыре колонны. У одних, согласно ее описанию, в руках были луки из рябинового дерева, у других на шеях — ожерелья из чего-то вроде чешуйчатой змеиной кожи, но, как и во что они были одеты, я не помню. Я попросил королеву сказать моей духовидице, не есть ли ее пещера, так сказать, столица всех окрестных фэйри. Губы ее задвигались, но ответа расслышать мы не смогли. Тогда я велел девушке положить руку королеве на грудь, и тут каждое ее слово стало слышно совершенно отчетливо. Нет, это не самое большое поселение фэйри в здешней округе, чуть дальше есть еще одно, и там их куда больше. Затем я спросил, правда ли, что она и ее люди крадут смертных, и если это правда, оставляют ли они взамен украденной другую душу. «Да, мы меняем тела», — был ответ. «А кому-нибудь из вас приходилось рождаться в смертном теле?» — «Да». — «Знаю ли я кого-нибудь, кто был до своего рождения одним из вас?» — «Да, знаешь». — «Кто они?» — «Этого тебе знать не следует». Потом я спросил, а не являются ли и сама она, и весь ее народ «драматизациями внутренних наших состояний». «Она вас не поняла, — сказала моя приятельница, — она говорит, что народ ее очень похож на людей, и многое из того, что свойственно большинству из смертных, им свойственно тоже». Я спрашивал еще о ее природе, о целях и месте ее в мироздании, но подобного рода вопросы только лишь удивили ее и озадачили. В конце концов она начала, кажется, терять терпение и написала для меня особо на песке — песке невидимом: «Будь осторожен и не пытайся слишком многое о нас узнать». Поняв, что чем-то ее задел, я поблагодарил ее за все, что она нам объяснила и показала, и позволил ей удалиться обратно в пещеру. Чуть времени спустя девушка очнулась от транса, холодный ветер с моря вновь напомнил о себе, и ее пере-дернуло дрожью.

«Они сияли яростно и ясно»

Я знаю женщину, которой довелось однажды столкнуться лицом к лицу с красотой героической, той самой, что, согласно Блейку, и в старости, как в юности, царит, той самой, что зачахла в изящных наших искусствах, когда упадок, именуемый у нас прогрессом, предпочел ей красоту сластолюбивую. Она стояла у окна и глядела в сторону Нокнарей, где похоронена, как принято считать, королева Мэйв³¹, — и вдруг увидела, по ее словам, «самую красивую из женщин, какую только можно себе представить, как она сошла с холмов и прямо к ней направилась». На поясе у женщины этой висел меч, а в поднятой кверху руке она сжимала кинжал, одета она была во все белое, с обнаженными до плеч руками и босая. Выглядела она «очень сильной, но не злой», то бишь не свирепой и не жестокой. Старухе доводилось прежде видеть древнего ирландского великана, таким же точно образом, но тот, «хоть он и выглядел человеком достойным, по сравнению с этой женщиной был ровным счетом ноль, потому как он был мужиковатый такой и не смог бы выступить так благородно»; «она была похожа на миссис ... (одна живущая неподалеку, с безукоризненной осанкой леди), только живота у ней большого не было, она была вся такая стройная, а в плечах широкая, вам такой красоты во всю вашу жизнь не увидеть, на вид ей было лет тридцать». Старуха закрыла глаза руками, а когда она

³¹ *Мэйв* (в произношении У. Б. Йейтса), Медб (в принятой русской транскрипции), Мэб (у Шекспира и Шелли) и т. д. — один из центральных персонажей ирландского эпоса, по сути скорее мифологический, нежели исторический, королева Коннахта, главная противница Кухулина. Похоронена, по преданию, под каирном из белых камней на горе Нокнарей, возвышающейся над городом Слайго.

руки отняла, видение исчезло. Соседи, по ее словам, «чуть было ее не прибили» за то, что она закрыла не вовремя глаза, — они были уверены, что ей явилась королева Мэйв, и нужно было дождаться от нее знака: местным лоцманам она показывается, говорят, не так уж и редко. Я спросил ту старуху, приходилось ли ей раньше видеть кого-нибудь похожего на королеву Мэйв, и она сказала: «У них у некоторых волосы распущены и вниз висят, но эти-то вот совсем другие, они как в книжке на картинках, как снулые. А у которых волосы все дыбом, вот они — как эта. На тех, на других, платья тоже белые, но длинные, до пят, а у которых волосы торчком, у тех платья короткие, чуть не под самое колено». После долгого и кропотливого допроса мне удалось выяснить, что на ногах у них надето обычно что-то вроде котурнов; потом она продолжила: «Они такие высокие и ходят быстро, вот вроде тех мужчин, которых видишь иногда, как они скачут верхом по двое, по трое по склонам гор и размахивают мечами»³². И она повторила несколько раз: «Таких людей не бывает уже больше на свете, таких красивых, не родятся они теперь», — или что-то вроде того, а потом сказала еще: «Вот теперешняя королева*, она женщина достойная, приятная женщина, но только она совсем не такая. Мне потому теперешние женщины и не нравятся, что они совсем на этих не похожи», — в виду имея духов. «Я когда думаю, вот, к примеру, о ней и о нынешних леди, так они

³² В ирландской мифологии и в фольклоре верхами, да еще по горам, ездят обычно обитатели сидов, в то время как персонажи героического склада предпочитают колесницы. Схожий с кельтским древний страх и удивление привыкших к колесницам индоевропейцев перед человеком, сидящим на лошади верхом, мог породить у греков и фигуру кентавра — также, кстати, с явным хтоническим оттенком. Ср. германского Вотана как предводителя «дикой охоты» мертвых воинов.

* Королева Виктория.

перед ней как дети, носят туда-суда и даже одеваться как следует не научились. Нешто это леди? По мне, так они и не женщины вовсе». Едва ли не на следующий день один мой приятель³³ спросил у старушки в голуэйском работном доме о королеве Мэйв и услышал в ответ, что «королева Мэйв — она была красавица, а еще у нее был ореховый посох, и она через него одолевала всех своих врагов, потому что орех — дерево благословенное, и это лучшее оружие, какое только можно на свете найти. С таким посохом можно всю землю пройти сквозь», но только «под конец она стала дурная совсем — ну очень дурная. Лучше об этом и не помнить. Кому надо, тот и так знает, и в книгах написано»³⁴. Мой приятель считает, что она имела в виду какой-то конфликт между Мэйв и Фергусом, сыном Ройга³⁵.

Сам я повстречал как-то раз в Берренских холмах одного человека, совсем еще не старого, который помнил старика-поэта, певшего стихи свои по-ирландски;

³³ См. примеч. 20.

³⁴ В поздней пьесе Йейтса «Смерть Кухулина» (1939) о старой Мэйв говорится, что у нее теперь «один глаз посередине лба». В относительно ранней небольшой поэме «Старость королевы Мэйв» (1903) ничего подобного, однако, Йейтс за ней не замечал. Там она скорее воплощение той самой «героической красоты», о которой и идет здесь речь.

³⁵ *Фергус, сын Ройга*, — также один из ключевых персонажей уладского цикла. Будучи королем Тары, а значит, и верховным королем всей Ирландии, добровольно удалился от дел и поселился в Уладе, во владениях короля Конхобара, будущего, так сказать, сюзерена Кухулина. Затем, после убийства людьми Конхобара Найси, любовника красавицы Дейрдре, и других сыновей Уислиу, гарантом безопасности которых выступал фактически сам Фергус, уходит вместе с тремя тысячами примкнувших к нему уладских воинов в Коннахт, откуда в течение шестнадцати лет совершает на Улад жестокие набеги. Был любовником королевы Мэйв, причем отчасти с ведома ее мужа, короля Айлиля, и во время войны за Донна Куальнге выступил вместе со своими уладами на ее стороне. См. также примеч. 92.

так вот, этот человек сказал мне, что, когда поэт его был молод, он встретил женщину, и она назвала себя Мэйв. Женщина сказала ему, что она «среди них» королева, и спросила, чего бы он от нее хотел — денег или радости. Он выбрал радость, и она дарила ему сколько-то времени свою любовь, а потом исчезла, и он весь остаток жизни своей прожил в тоске и печали. Тот молодой человек часто слышал в его исполнении сложенный им по этому поводу плач, но помнил только, что звучали стихи «очень жалостно» и что поэт называл ее «красотой, которой больше нет».

1902

Зачарованный лес

I

Прошлым летом я взял себе за обыкновение отправиться после трудов праведных побродить в соседний лес, весьма, кстати, обширный. Часто мне встречался там один из местных жителей, совсем старик, и мы с ним говорили — о его делах и о лесе. Раз или два приятель мой, с которым старик откровенничал куда охотнее, чем со мной, тоже составлял нам компанию. Всю жизнь свою старик расчищал в лесу просеки, вырубая бирючину, вязовую, грабовую и ореховую на них поросль, и всю лесную фауну, как естественную, так и сверхъестественную, знает как собственную семью. Он слышал, к примеру, как ежи — «чушки яршистые», как он их называет, — «бормочут себе под нос, что твои христьяне», и уверен, что они воруют по осени яблоки: катаются под яблоней до тех пор, пока на каждой «ихней» иголке не будет сидеть по яблоку. Еще он уверен, что у кошек — а их в лесу немало — есть свой собст-

венный язык, что-то вроде древнеирландского. Он говорит: «Кошки, они когда-то были змеями, и кошками стали, когда в очередной раз все в мире переменялось. Поэтому их и убить так трудно, и вообще лучше с ними не связываться. Если ты кошку, скажем, обидишь, она может так тебя укусить или окорябать, что в кровь к тебе попадет яд, тот же самый, который у змеи в зубах». Он считает, что время от времени кошка сбегает в лес и превращается там в дикую кошку, и тогда на кончике хвоста у нее вырастает еще один коготь, но эти дикие кошки совсем не то же самое, что хорьки³⁶, те-то всегда жили в лесу. Давным-давно и лисы тоже были домашние, ручные, совсем как теперешние кошки, а потом сбежали в лес и одичали. Он говорит обо всех лесных жителях, кроме белок — этих он терпеть не может, — так, словно речь идет о добрых старых знакомых, хотя и вспоминает иной раз с явным удовольствием, поблескивая живо глазками, как, мальчишкой еще, заставлял ежей развернуться, просто-напросто сунув им под брюхо пучок горящей соломы.

Я не уверен, что для него вообще существует какая-то особенная разница между естественным и сверхъестественным. Он уверен, что кошки и лисы более всего с наступлением темноты любят собираться возле ратов и в прочих «нехороших» местах; от какой-нибудь истории о лисах он имеет обыкновение переходить к истории о духах, не переменяв особенно ни голоса, ни интонации, во всяком случае не больше, чем если бы речь зашла о хорьках — они-то как раз в лесу почти повывелись. Много лет тому назад он работал «у одних тут» в саду, и как-то раз они положили его спать в летнем домике в конце сада, а в домике том был чердак, а на чердаке хранились — россыпью — яблоки; так вот

³⁶ Хорек по-английски — pole cat или же, на диалекте, marten cat, то есть прямой родственник кошки, которая просто — cat.

он всю ночь напролет слышал, как у него над самой головой, на чердаке, какие-то люди звенели тарелками, вилками и ножами. Ему даже и своими глазами удалось один раз увидеть нечто необычное. Он так мне об этом рассказывал: «Я ходил одно время в лес Инхи, в самую что ни на есть чащобу, лес рубил, и вот как-то раз поутру гляжу, девчонка орехи собирает; волосы ниже плеч, рыжеватые такие, и личико хорошее, чистое, сама высокая, и на голове ничего не надето, а платице без всяких там, простенькое такое. Она как услышала, что я иду, подобралась вся разом да и исчезла, как сквозь землю провалилась. Я нарочно туда пошел и все там кругом обыскал, так ни разу ее с тех пор и не видел, по сей день». Слово «чистый» он употребляет так, как мы бы сказали «свежий» или же — «симпатичный». Духов в Зачарованном Лесу видывал не только он один. Батрак, из местных, рассказал нам историю, которая приключилась с его приятелем в той части леса, что зовется Шан-Валла, кажется, там, в лесу, стояла когда-то деревушка с таким названием. История такая: «Как-то вечером я распрощался с Лоренсом Мэнгеном тут, во дворе, и он пошел домой, по просеке через Шан-Валла, он мне и доброй ночи пожелал, все чин чинном. Часа два прошло, гляжу, бежит обратно и кричит, свечку, мол, зажги, свечку, у нас как раз одна стояла на конюшне. Он мне и рассказал: чуть, говорит, зашел я в Шан-Валла, глядь, идет со мною рядом маленький такой мужичок, ростом сам по колено, а голова — как пивной бочонок; в общем, увел этот мужичок его с просеки и ну таскать по лесу, а под конец привел его к печам, где известь жгут, отпустил и сам исчез».

Женщина, тоже из тамошних, рассказала мне о том, что она и другие с ней вместе видели на реке, у омута. Вот ее слова: «Шли мы из часовни, через стену, через перелаз, и я как раз на самом верху была, и другие были тут же, рядом; и вдруг как ветер налетит, два дере-

ва у реки согнул, сломал и в воду бросил, брызги аж до неба. Те, что со мной были, они тут много всякого увидели, а я нет, я только одного видела, как раз на бережку сидел, там, где деревья упали. Весь в черном, и головы у него не было — совсем».

Еще один человек рассказывал мне, как однажды — он был тогда совсем еще мальчишка — он пошел вдвоем с приятелем на дальний луг, у озера, там в лесу вдоль берега большие прогалины, сплошь валуны и кустарник — шиповник, можжевельник, лещина. Он сказал тому мальчику, что с ним был: «Спорим на пуговицу, если сейчас швырну голыш вон в тот куст, так он там и останется», — куст был настолько густой, что камень, по его мнению, насквозь бы никак не пролетел. Он подхватил с земли «не голыш, а навоза кусок, сухого, кинул что было сил, и тут из куста вдруг музыка, да такая красивая — я такой вовек не слышал». Они побежали прочь; отбежавши ярдов на двести, они обернулись и увидели, что вокруг куста ходит женщина, вся в белом, ходит и ходит. «Оно было сперва в форме женщины, потом в форме мужчины, и все ходило вокруг куста».

II

Мне часто приходится спорить об истинной природе подобных явлений, и аргументация бывает порой куда запутаннее, чем тропинки на Инхи. Иногда же я следую примеру Сократа, сказавшего в ответ на изложение научной точки зрения на илисскую нимфу: «Того, как думает народ, мне вполне хватает»; я верю, что природа исполнена невидимых нам существ, иные из них уродливы, иные способны вызвать страх, они бывают злыми и глупыми, но есть среди них и прекрасные, настолько, что мы и представить себе их красоты не в состоянии; еще я верю, что, когда мы бродим не

спеша в местах красивых и тихих, вот эти как раз, самые из них прекрасные, от нас недалеко. Даже когда я был совсем еще мальчишкой, стоило мне только оказаться в лесу, и тут же приходило чувство ожидания встречи с кем-то или с чем-то, чего я долго ждал, хотя я и не смог бы сказать точно, а чего я, собственно, ждал. Я и сейчас иногда готов вдоль и поперек, с неведомою мне самому целью, исходить несчастную какую-нибудь рощицу — столь сильна надо мной власть детского этого ожидания чуда. И вы, вы тоже знаете наверняка эту власть над собой, вы встречались с ней там, где находила вас ваша планета: Сатурн вел вас в лес, Луна, скорей всего, на берег моря. Я не взялся бы отрицать особенной власти заката, когда, как верили наши предки, мертвые уходят вслед за своим пастухом, вслед за солнцем, — и не стал бы списывать всего закатного спектра чувств по ведомству «некоего смутного ощущения присутствия чего-то и неосязаемого почти». Если красота не есть путь к спасению из той рыбацкой сети, в которую, родившись, мы попадаем все, то она красотой пребудет недолго, и тогда уж лучше нам сидеть по домам, у камельков, и копить в ленивом теле жир или же бегать туда-сюда сломя голову, играя в дурацкие наши игры, чем глядеть на великолепнейшие из представлений, которые разыгрывают от века свет и тень среди лесных зеленых листьев. И, выбравшись в очередной раз из темных дебрей спора, я говорю себе: да есть же они, есть, несомненно, иной, божественной природы существа, ведь это только мы, в ком нет ни простоты, ни мудрости, берем на себя смелость отказывать им в праве на существование. Древние мудрецы и простые люди всех времен видели их и даже говорили с ними. Они живут совсем неподалеку, и жизни их полны страстей и радостей, и мы, я убежден в том, тоже будем среди них, когда умрем, если только будем внутри себя простыми и страстными.

А может быть, и вовсе там, за гробом, нас ждет воссоединение с миром забытым и древним, и нам еще предстоят схватки с драконами среди голубых холмов, поросших лесом; и не есть ли в таком случае вся наша поэзия лишь

Предчувствий смутных смесь, и разом память
О том, что потеряли мы в иные дни, —

как то казалось старцам в «Раю земном»³⁷, когда пребывали они в добром расположении духа.

Таинственные существа

В Зачарованном Лесу живут хорьки, барсуки и лисы, но есть там, кажется, и иные, куда более могущественные существа, а озеро скрывать может нечто такое, чего не поймать ни лесой, ни сетью. Существа эти относятся к той же расе, что демоническая дикая свинья, убившая Диармайта³⁸ на приморских склонах Бен-Балбена, что и таинственный белый олень, который вот уже не первый век с непревзойденной ловкостью пере-

³⁷ Поэма Уильяма Морриса, опубли. 1868–1870.

³⁸ *Диармайт*, или же Дермот, — один из персонажей так называемого цикла Финна, речь в котором идет о событиях, происшедших в Ирландии лет через двести после Кухулина, Фергуса, Конхобара и Медб, то есть где-то в районе II–III веков нашей эры. С Диармайтом бежит Грайне, или Гранья, дочь короля Тары, в то самое время, как к ней сватается сам Финн, он же, по Мак-Ферсону, Фингал, предводитель фениев, касты вольных воинов-охотников, охранявших берега Ирландии и подчинивших попутно себе почти всю страну, за исключением Улада и самой Тары. После смерти Диармайта Финну удастся завоевать любовь Грайне, и он возвращается с ней к своим фениям, которые, увидевши их вместе — а Грайне как раз склонила голову на плечо Финна, — раздражаются дружным и неостановимым смехом.

прыгивает то из народных сказок в легенды о короле Артуре, то обратно. Они, насколько я их себе представляю, суть мудрые звери надежды и страха; они, и никто другой, бегут, спасаясь от погони, и они же пытаются догнать беглеца в той непролазной чаще, где Ворота Смерти. Один мой знакомый крестьянин помнит, как его отец пошел однажды ночью в лес Инхи, «где ребята с Горта воровали обычно лозняк. Он сидел у стены, и с ним была еще собака, и вдруг он услышал, как что-то несется, чуть не прямо на него, со стороны Оубон-Вейра, но он ничего не видел, только копыта стучали, вроде как олени. А когда оно пронеслось мимо, собака забилась между ним и стеной и вжалась вся в стену, словно испугалась до смерти, но он так и не увидел ничего, только слышен был стук копыт. И когда оно совсем скрылось, он развернулся и пошел поскорее домой». «В другой раз, — привожу слова того же самого рассказчика, — отец мне говорил, как он был в лодке на озере, и с ним еще человека два-три, все с Горта, и у одного из них была острога. Он ударил острогой в воду, попал во что-то и тут же потерял сознание. Когда они его вытащили на берег и когда он пришел в себя, он сказал, что под водой там было что-то размером по меньшей мере с теленка, и кем бы оно ни было, но уж во всяком случае не рыбой».

1902

Аристотель-книжник

Тот мой приятель, который только и может разговаривать до полной откровенности знакомого нашего дровосека из леса Инхи, зашел недавно в гости к его старухе. Живет она невдалеке от леса, и старых всяких баек в голове у нее не меньше, чем у мужа. В тот раз

ей пришла охота поговорить о Гобане³⁹, легендарном ирландском строителе и каменщике, и о мудрости его, но в конце концов она вышла совсем на другую тему: «Вот Аристотель-книжник, он тоже был человек очень мудрый и много всего повидал, но разве и его не нашлось-таки кому надуть? И кто же с ним такое сотворил? — простые, обыкновенные пчелы. Ему все хотелось посмотреть, как они кладут в соты мед, и он чуть не две недели все-то за ними подглядывал, все-то высматривал и никак не мог их за этим занятием поймать. И вот тогда он сделал на улей стеклянную крышку, приладил, значит, ее: ну, думает, теперь-то я все как есть увижу. Пришел наутро, глядь — а они за ночь все стекло позалепили воском изнутри, черным, что твоя сковорода; и ничего у него не вышло. Он сам говорил, что до той поры никому не удавалось его провести. А они-то его и подловили!»

1902

Демоническая свинья

Несколько лет назад один мой приятель рассказал мне случай, происшедший с ним в молодости, когда он состоял в организации коннахтских фениев и выезжал с ними вместе на тренировочные сборы. Группа была небольшая, все как раз умещались в повозку; и вот однажды утром они погрузились и поехали вдоль холмов, пока не добрались до мест совсем уже безлюдных. Оставив повозку на дороге, они прошли еще немного вверх по склону, прихватив с собой винтовки,

³⁹ Гобан, или Гоб, — так же как и Рафтери, персонаж множества ирландских сказок и побасенок. См. переведенные на русский язык сказки из сборника Шамаса Мак-Мануса «Золотое зерно к земле тянет».

и занялись там обычными своими упражнениями. На обратном пути они заметили, что за ними увязалась возникшая невесть откуда свинья, очень худая и длинноногая, старой ирландской породы. Один из них крикнул в шутку, что, мол, свинья-то, видать, из фэйри, и все они, только чтобы поддержать шутку, бросились вниз по склону бегом. Свинья побежала тоже, и вдруг, никто из них не мог потом вспомнить, когда и как страх из шуточного стал совсем нешуточным, и они и впрямь рванули вниз что было сил, так, словно речь шла о жизни и смерти. Добежавши до повозки, они сразу бросили лошадь в галоп и погоняли ее, как только могли, но свинья и не думала от них отставать. Тогда один из них вскинул было винтовку, но когда он поглядел через прицел, то не увидел на дороге сзади ровным счетом ничего. Наконец они свернули с дороги и въехали в деревню. Они рассказали деревенским о том, что с ними приключилось, деревенские похватили тут же что под руку попало — лопаты, вилы — и побежали с ними вместе назад, чтобы прогнать свинью. Но, выйдя на дорогу, ничего и никого на ней не обнаружили.

1902

Голос

Однажды я шел через болотистую местность неподалеку от леса Инхи, и вдруг, на какой-то миг, очень краткий, мне пришло чувство, осознанное мною впоследствии как исток любого толка христианской мистики. Меня охватило вдруг ощущение собственной слабости, зависимости от некоей могучей личностной Сути, невероятно далекой, но и близкой, очень близкой в то же самое время. И не то чтобы я думал перед этим о чем-то подобном, мысли мои были заняты Энгу-

сом и Эдайн⁴⁰, и Мананнаном, богом Моря. В ту же ночь я проснулся — я лежал на спине — и услышал голос откуда-то сверху, говоривший мне: «Нет человеческой души, которая была бы сходна с другою человеческой душой, и потому любовь Господня ко всякой душе безгранична, ибо никакой иной душе не дано понять и выполнить, чего взыскует она в Боге». Прошло еще дня два или три, и я опять проснулся ночью — у постели моей стояли две человеческие фигуры, самые красивые люди, каких мне доводилось видеть. Мужчина, молодой, и девушка, одетая в оливково-зеленое платье, похожее на древнегреческие хитоны. Я взглянул на девушку и увидел, что платье ее собрано у горла чем-то вроде цепочки или, может быть, плотного золотного шитья, но узор был — листья плюща. Что меня в особенности поразило, так это волшебная, непередаваемая мягкость в выражении ее лица. Теперь подобных лиц нет. Оно было прекрасно редкостною красотой, однако же в нем

⁴⁰ *Энгус*, он же *Мак-Ок* (*вал.* Мабон, *гэл.* Мапонос), — бог, один из племени богини Дану, сын Дагда и Боани. Трикстер, связывается также с понятиями молодости, красоты и поэзии — вдохновения вообще. Соотносился разом с Гермесом и с Дионисом. Атрибуты — арфа и птицы (четыре или больше), летающие вокруг головы. Четыре птицы — бывшие его поцелуи, которым он решил таким образом «продлить жизнь». Покровитель любящих, хотя порой его покровительство принимает достаточно странные, на человеческий взгляд, формы. Он может, к примеру, сообщить каждому из двух разлученных, что возлюбленный его умер, с тем чтобы, умерев от горя, они соединились навсегда за гробом, т. е. у него, у Энгуса, под рукой. Именно он послал чудовищного вепря, который растерзал Диармайта, а потом зачаровал его душу игрою на арфе.

Эдайн, или же *Этайн*, — смертная, дочь уладского короля Айлиля, которую Энгус «присоветовал» своему приемному отцу Мидиру. Мидир, однако, был женат, и жена его, «безумная» Фуамнах, задалась целью Этайн извести, в результате чего бывшая смертная девушка за тысячу с небольшим лет в первой своей жизни пережила ряд перевоплощений. Причем часть времени, спасаясь от Фуамнах, она прожила с самим Энгусом в «стеклянном дворце». Мидир узнает об этом последним, но у него к приемному сыну претензий нет. В конце концов Энгус убивает Фуамнах (Мидир,

не было того огня, что есть в страсти, в надежде, в страхе или в мудрости. Оно было спокойным, как лица зверей или как горные озера вечером, настолько спокойным, что в спокойствии этом чуть проглядывала даже печаль. Мне показалось на минуту, что она — возлюбленная Энгуса, но сколько же ее искали, преследовали, добивались ее, дарили ей, бессмертной распутнице, счастье — откуда бы и взяться у нее подобному лицу?

1902

Ловцы человекoв

Чуть к северу от города Слайго, на южных склонах Бен-Балбена, в нескольких сотнях метров над равниной есть небольшая квадратная плита из белого извест-

кстати, и в этом случае ничего не имеет против), но Этайн, унесенная в образе мухи насланным Фуамнах вихрем, падает в Уладе в питье одной тамошней дамы, через девять месяцев опять рождается обычной смертной девочкой и снова получает при рождении имя Этайн. На ней женится Эохайд, король Улада, однако в это же время Айлиль Ангуба, его сын, также проникается к ней пламенной страстью. Она несколько раз соединяется с ним, но позже выясняется, что с ней каждый раз бывал не Айлиль, который погружался на это время в магический сон, а Мидир, прежний ее божественный муж. В конце концов Мидир, не называя имени своего, является к Эохайду, выигрывает у него Этайн в фидхелл (своеобразные ирландские шахматы) и уносит ее с собой, несмотря на все принятые Эохайдом меры. Эохайд идет на сидов войной, в результате чего Мидир вынужден возвратить ему Этайн. Эохайд дает клятву, что с этих пор никаких претензий к Мидиру у него нет и не будет, после чего Мидир сообщает ему главную новость — с Эохайдом рядом сидит не сама Этайн, а ее от Мидира дочь. Дочь эта, Эохайдом изгнанная и едва не убитая, станет впоследствии женой короля Этерскела и матерью короля Конайре. Эохайда же, мстя за честь деда, убьет Сигал, внук Мидира.

Образ Этайн вообще достаточно часто являлся Йейтсу по ночам, между сном и явью.

няка. Никто из смертных даже пальцем никогда до нее не дотрагивался; ни козы, ни овцы не щипали никогда подле нее травы. Это, так сказать, ирландский полюс недоступности, и вряд ли сыщешь на земле хотя бы полдюжины других подобных мест, которые окружал бы ужас столь же неподдельный и благоговейный. Это дверь в страну фэйри. Ровно в полночь она распаивается, и кавалькада подземных всадников рвется бешено вон. Всю ночь напролет носится по стране развеселая эта охота, невидимая ни для кого, если только где-нибудь в особенно «знатном» месте — в Драмклиффе или в Дромахайре — не высунет из двери голову в ночном колпаке местный «коровий доктор», или, иначе, «фэйри-доктор»⁴¹, чтобы поглядеть, каких там еще безобразий собралась нынче натворить подземная «знать». Для тренированного глаза и уха равнина полна, должно быть, из края в край всадниками в красных шапках, а воздух звенит от голосов, высоких и резких, наподобие свиста, как описывал их один древний шотландский духовидец; они совсем не похожи на голоса ангельские, те «говорят скорее горлом, как ирландцы», как мудро заметил Лилли, астролог. Если есть где-то поблизости новорожденный или новобрачная, «доктор» глядеть будет в ночную темень с удвоенной бдительностью, потому как далеко не всегда дикая эта охота возвращается вспять с пустыми руками. Иногда она с собой под землю кого-нибудь да и прихватит, и чаще всего это именно младенец, только что явившийся на свет, или свеженареченная невеста; дверь на склоне Бен-Балбена распаивается еще раз, и человек, будь то женщина или ребенок, исчезает в бескровной стране фэйри, стране счастливой, как гласит предание, однако же обреченной растаять, едва лишь трубы возгласят Страшный суд, подобием яркого, но призрачного миража, потому что без печали душа жить не может. Сквозь эту дверь из белого камня и через другие, ей подобные

⁴¹ Обычное в Ирландии название для знахарей-ведунов.

по всей стране, ушли в страну, где «geabheadh tu an sonas aeg pingin» («ты можешь счастье купить за медяк»), те короли, королевы и принцы, чьи жизнеописания донесли до нас гэльская литература.

На западной оконечности Маркет-стрит в Слайго, там, где стоит теперь мясная лавка, явилась в один прекрасный день, как дворец в китсовой «Ламии»⁴², аптека, и держал ее некий странный человек по имени доктор Оупендон. Кто он такой и откуда взялся, никто так никогда и не узнал. В те же самые времена жила в Слайго одна женщина, по фамилии Ормсби, у которой как раз заболел какой-то непонятной болезнью муж. Доктора ничего не могли с ним поделать. И все у него вроде бы было в порядке, а только он все чах и чах. В конце концов жена его отправилась к доктору Оупендону. Прислуга провела ее в комнату для посетителей. Там у камина, у самого огня, сидел большой черный кот. Буфет буквально ломился от всяческих фруктов. «Полезная, должно быть, вещь эти самые фрукты, раз их у доктора так много», — успела только подумать миссис Ормсби, и в комнату как раз вошел доктор Оупендон. Он весь был в черном, того же самого оттенка, что и кот, и следом за ним вошла его жена, тоже вся в черном. Миссис Ормсби дала ему гинею, а он ей взамен — маленькую склянку с лекарством. В тот раз муж ее поправился. Тем временем черный доктор излечить успел тьму всяческого народа, но вот однажды один из его пациентов, очень богатый, умер, и на следующую ночь и кот, и доктор, и его жена из города исчезли. Через год бедняга Ормсби заболел опять. С виду он был совершенно здоров, и его жена уже ни капли не сомневалась в том, что на него пытается наложить лапу «знать». Она отправилась в Кейрнсфут, к тамошнему «фэйри-доктору». Едва дослушавши ее рассказ, он вышел через

⁴² В поэме Джона Китса «Ламия» (1819) у богини Ламии есть в Коринфе волшебный дворец, в котором она прячет Люция, своего возлюбленного.

заднюю дверь во двор и принялся бормотать заклинания. И на сей раз мужа хворь отпустила. Но через некоторое время он снова занемог — фатальный третий раз; она опять пошла в Кейрнсфут, «фэйри-доктор» опять вышел через заднюю дверь и начал бормотать, но скоро вернулся и сказал, что толку на сей раз не будет — ее муж все равно умрет; и верно, он умер, а миссис Ормсби всякий раз, как ей приходилось впоследствии о нем говорить, повторяла, что она-то знает наверное, где он сейчас, — ни в Раю, ни в Аду, ни в Чистилище, куда там. Она, по-моему, даже была уверена в том, что вместо него схоронили обрубок дерева, таким образом заговоренный, чтобы всем он казался телом ее мертвого мужа.

Теперь она уже и сама мертва, но живы люди, которым доводилось знать ее лично. Некоторое время она даже была, кажется, в услужении у дальних моих родственников, или они ей выплачивали, что ли, какой-то пенсион, я точно не помню.

Иногда тем, кого украли фэйри, предоставляется возможность через несколько лет — обычно через семь — взглянуть в последний раз на друзей своих и близких. Много лет назад в Слайго, в городском саду, пропала женщина — она вышла туда вдвоем с мужем прогуляться. Ее сынишка был тогда совсем еще маленьким; когда он подрос, он получил каким-то образом от нее весточку, причем никто ему из рук в руки ничего не передавал: его мать, мол, зачаровали фэйри, и сейчас ее держат в одном доме в Глазго, а ей очень хочется с ним повидаться. Глазго для крестьянского парнишки в те времена находился, должно быть, уже вне пределов обитаемого мира, но он был послушный сын — и поехал. Он долго бродил по улицам Глазго и в конце концов заметил внизу, в полуподвале, свою мать за какой-то работой. Она сказала, что она страшно счастлива и что припасла специально для него всяких вкусностей — не хочет ли он, кстати, есть? — и с этими слова-

ми принялась выставлять на стол всякую всячину; он, однако, зная прекрасно, что она пытается таким образом и его зачаровать, накормивши едой фэйри, есть не стал и вернулся к семье своей в Слайго.

Милях в пяти к югу от Слайго находится мрачного вида пруд, весь заросший по берегам столетними ветлами, на нем еще полным-полно всегда всякой водоплавающей птицы, и называется он, из-за формы своей, озеро Харт⁴³. Из этого озера, как и из двери на южном склоне Бен-Балбена, выезжает по ночам дикая охота. Как-то раз местные жители решили его осушить; и вдруг один из них поднял крик, что в доме у него пожар. Они обернулись, и каждый увидел, что собственный его дом охвачен пламенем. Они побежали в деревню и обнаружили, что никаких пожаров там не было и все это одно наваждение. По сей день у берега показывают вырытую наполовину траншею — свидетельство попытки забыть страх божий. Неподалеку от озера Харт я услышал красивую историю о том, как фэйри украли человека. Рассказала мне ее маленькая одна старушонка, а еще она пела по-гэльски и переступала при этом с ноги на ногу, так, словно вспоминала танцы времен своей молодости.

Один молодой человек — он буквально только что женился — шел поздним вечером домой; навстречу ему попалась развеселая компания, и с ними была его жена. Они все были фэйри и украли ее своему предводителю в жены. Ему они, однако, показались обыкновенными смертными, подгулявшими по случаю свадьбы. Его невеста, узнавши свою прежнюю любовь, позвала его поближе, но изо всех сил пыталась сделать так, чтобы он ничего не съел и не выпил, а не то и ему бы с нею вместе, зачарованному фэйри, пришлось остаться с бескровным подземным народцем. А потому она усадила его с тремя другими фэйри играть в карты; он

⁴³ Сердце.

стал играть и ничего не понимал до тех самых пор, пока не увидел, как предводитель кавалькады увозит, обняв по-хозяйски, в седле собственную его жену. Он вскочил, и вот тут-то до него дошло, что все они были фэйри, потому как вся их компания с песенками, музыкой и прибаутками растворилась просто-напросто в ночи. Он побежал домой и, услышавши издали еще причитания родни, понял, что жена его умерла. Некий безвестный гэльский поэт сложил об этом балладу, тоже давно забытую; старенькая моя подружка в белом чепчике вспомнила из нее лишь несколько разрозненных строк и спела мне их*.

Иногда приходится слышать о том, как давно похищенные люди выступают для живущих в роли своего рода добрых гениев, как в истории, которую мне рассказали также невдалеке от «нехорошего» пруда, в истории о Джоне Керване из замка Хэкетт. О Керванах** вообще в тех местах много чего могут порассказать, и вообще, по слухам, они ведут свой род от брака смертного с каким-то духом. Они известны были на всю округу своей красотой, и я читал где-то, что мать нынешнего лорда Клонкерри тоже была из этой семьи.

* В моем «Ветре в камышах» есть баллада на эту тему.

** С тех пор мне удалось выяснить, что от брака смертного с духом пошли вроде бы не Керваны, а их предшественники в замке Хэкетт — собственно Хэкетты, которые как раз и отличались ко всему необычайной красотой. Я думаю, мать лорда Клонкерри происходит все-таки от Хэкеттов. Вполне вероятно, что во всех этих историях имя Керван просто-напросто заменило более раннее имя (1902). Замок Хэкетт был подожжен и сгорел во время гражданской войны, в 1924 году (гражданская война между Ирландской республиканской армией и «черно-пегими» националистами, воевавшими на стороне проанглийского Ирландского Свободного Государства, коснулась и лично У. Б. Йейтса. В 1922 году бойцы ИРА взорвали возле Тор-Баллили т. н. старый мост, а самого Йейтса посадили под своеобразный домашний арест, «но в остальном были отменно вежливы и даже сказали: „Доброй ночи, спасибо вам“, — так, словно получили от нас мост в подарок». — *Примеч. перев.*)

Джон Керван был большой любитель скачек, и вот однажды он выгрузился на берег в Ливерпуле на пару с прекрасной лошадей, которую собирался выставить на скачках где-то в Центральной Англии. В тот же вечер, когда он прохаживался в порту, к нему подошел мальчишка, худой как щепка, и спросил его, куда он поставил лошадь на ночь. Керван ответил. «Не оставляй ее там, — сказал заморыш, — эта конюшня сегодня же ночью сгорит». Он перевел лошадь в какое-то другое место, а конюшня, конечно же, сгорела ночью дотла. На следующий день мальчишка подошел к нему опять и попросил в награду право выступить на его лошади жокеем на предстоящих скачках — и тут же ушел. Настало время скачек. Мальчишка вынырнул откуда-то буквально в последнюю минуту, вскочил на лошадь и сказал: «Если я ударю ее хлыстом и хлыст у меня будет в левой руке, я проиграю, но, если рука будет правая, ставь тогда все, что у тебя есть». Все дело в том, объяснил мне Падди Флинн, от которого я историю эту и услышал, что «от левой руки толку — тьфу! Ты можешь ей креститься и все такое хоть до второго пришествия, а баньши будет все едино, что вон той вон раките». Короче говоря, заморыш стегнул лошадь правой рукой, и Джон Керван сорвал банк. Когда скачки закончились, он спросил мальчишку: «Что я могу для тебя сделать?» — «Ничего, кроме одной только вещи, — ответил тот, — матушка моя живет на твоей земле, а меня украли, давно еще, прямиком из люльки. Будь добр к ней, Джон Керван, а я стану приглядывать за твоими лошадами, и, куда бы они ни забрели, никакая беда к ним не пристанет; но только больше ты меня видеть не сможешь». Тут он стал таять, таять и совсем исчез.

Иногда крадут и скот, чаще всего, кажется, это касается «утопленников». Падди Флинн рассказывал мне, что в Клэрморрис, графство Слайго, жила одна бедная вдова, и было-то у нее всего что корова да теленок. Корова свалилась как-то в речку, и ее унесло течением.

Нашелся поблизости человек, который сходил к одной рыжей женщине — рыжие, как принято считать, понимают в таких делах поболее прочих, — и она ему подсказала свести теленка на берег, а самому схорониться где-нибудь рядом и ждать. Он так и сделал. Спустился вечер, и теленок начал мычать. Немного погодя по кромке воды снизу пришла корова и стала его кормить. Тогда, как ему и было велено, человек тот схватил корову за хвост. Корова потащила его за собой, через изгороди, через канавы, пока они не добрались до заброшенного старого форта. Там внутри он увидел всех, кто на его памяти в деревне помер: одни расхаживали туда-сюда, другие сидели просто так. С самого края сидела женщина с ребенком на коленях, и она ему крикнула, чтобы он все делал так, как ему велела рыжая, и тут он вспомнил, как она ему говорила: «Пусти корове кровь». Он ударил корову ножом, и пошла кровь. Чары рассеялись, и ему сразу удалось повернуть ее в сторону дома. «Эй, пути не забудь, — сказала женщина с ребенком на коленях, — возьми вот эти, что ко мне поближе». На кусте висело три пары пут; он взял с собой одну и без дальнейших приключений отвел корову к вдове.

Едва ли найдется в Ирландии деревня, будь то на равнине или в холмах, где вам не расскажут подобной же истории. В двух-трех милях от озера Харт живет одна старушка, в молодости фэйри похитили ее саму. Через семь лет по какой-то неведомой нам причине они доставили ее домой, обратно, вот только пальцев у нее на ногах не осталось. Она так много плясала там, под землей, что стерла их напрочь.

Те, кто не знает усталости

Источником величайших наших жизненных сложностей является то обстоятельство, что чувства чистые, незамутненные нам, по сути своей, незнакомы. В злей-

шем из наших врагов мы всегда найдем чем восхититься и к чему придраться — в человеке самом близком. Смешение настроений и чувств именно и старит нас в конце концов, перепахивая наши лбы морщинами и оставляя, углубляя из года в год «вороньи лапки» в уголках глаз. Будь мы в состоянии любить и ненавидеть так же самозабвенно, как сиды, мы, глядишь, и жили бы не меньше, чем они. А до той поры умение любить и горевать без усталости так и будет составлять для нас добрую половину их очарования. Любовь у них не знает сносу, и, сколько ни кружи по небу звезды, они танцуют в сумеречном царстве своем без усталости и срока. Донегальские крестьяне помнят об этом всегда, налегая ли в тысячный раз на лопату или сидя вечером у очага и перекатывая в мышцах тяжесть дневных трудов; и рассказывают свои сказки, чтобы о том не забыть. Несколько лет тому назад два маленьких человечка — один мужчина, молодой, другая женщина, и тоже молодая, — пробрались, говорят, каким-то образом в дом к одному здешнему фермеру и принялись наводить в доме порядок — вычистили камин и все такое, и занимались этим будто бы всю ночь до самого утра. На следующую ночь они заявили снова — фермера не оказалось по какой-то причине дома — и перетащили всю мебель в одну из верхних комнат, выстроили ее там вдоль стен — для большего, что ли, шику? — и принялись в этой комнате танцевать. И так танцевали себе день за днем, не останавливаясь ни на минуту; вся округа приходила на них посмотреть, и ноги у них, казалось, усталости не ведали вовсе. Фермер какое-то время не жил дома, боялся; но по прошествии трех месяцев терпение у него лопнуло, он пошел к ним и прямо с порога сказал, что следом за ним идет священник. Маленькие человечки, едва услышав о попе, вернулись тут же в чудесную свою страну, где радость их длиться будет, как здесь говорят, пока камыш расти не перестанет, то есть покуда Бог не сожжет этот мир поцелуем.

Однако же не одним только сидам дано познать дни и ночи без усталости: бывали и смертные, мужчины и женщины, которые, подпав под их чары, сумели достичь, быть может не без ведома небесных ангелов своих хранителей, полноты жизни и чувства, пожалуй большей даже, чем у фэйри. Одна такая женщина родилась давным-давно на самом юге Ирландии. Она спала в своей колыбели, и рядом с ней сидела мать; вошла женщина-ши⁴⁴ и сказала, что князь сумеречного тамошнего королевства избрал девочку своей невестой, но, поскольку жене его не подобает состариться и умереть в отведенный смертному срок, то есть когда он сам будет еще в самом расцвете первой своей весны, ей в подарок дается жизнь фэйри. Матери следовало вынуть из очага горящее полено и схоронить его в саду — девочка тогда жить будет до тех самых пор, пока полено это не сгорит⁴⁵. Мать закопала полено в саду, девочка выросла красавицей и действительно стала женой князя фэйри, который приходил к ней из своего королевства каждую ночь. Семьсот лет спустя князь умер, ему наследовал другой, который, в свою очередь, также взял в жены красивую крестьянскую девушку; еще через семь сотен лет умер и этот, и ему на смену явился следующий князь и муж; и так до тех пор, пока она не вышла замуж в седьмой по счету раз. Тогда в один прекрасный день к ней зашел приходской священник и сказал, что она уже давно стала притчей во языцех с семьей своими мужьями и с неподобающе долгой жизнью и что это нехорошо. Она ответила ему, что ей, конечно, очень жаль, но она ничего не может тут поделать, а потом рассказала про полено; тогда священник отправился напрямик к ней в сад и копал там до тех пор, покуда не нашел полено; полено сожгли, она умерла, ее схоронили как добрую христианку, и все остались довольны. Такой же смертной была и Клут-

⁴⁴ Правильное ирландское произношение слова Sidhe.

⁴⁵ Ср. сходный греческий сюжет о Мелеагре.

на-Бэйр*, которая обошла весь свет в поисках озера достаточно глубокого, чтобы утопить в нем дарованную ей жизнь фэйри, — она от жизни столь долгой успела таки устать; и будто бы она скакала с горы — и в озеро, а из озера — на следующую гору, и на каждом месте, где ступала ее нога, оставался каирн. В конце концов она нашла самую глубокую на свете воду в Лох-Йа, на вершине Птичьей горы в графстве Слайго.

Маленькие два человечка могут танцевать до окончания века, а женщина с поленом и Клут-на-Бэйр могут спать себе с миром, ибо они знали в жизни своей ненависть без конца и без края и любовь без примеси, и не уставали никогда от «да» и «нет», и не бились в ловчей сети всех наших «может быть» и «вероятно». Пришел великий ветер и унес их, и сами они стали — ветра часть.

Земля, вода и пламя

В детстве я вычитал у одного француза⁴⁶: евреи, мол, стали такими, какие они есть сейчас, потому что в годы скитаний в их сердца и души вошла пустыня. Я не помню аргументов, которые он приводил в пользу мнения своего о евреях как о несокрушимых детях земли, но может и впрямь так случиться, что у каждого из первоэлементов есть свои дети. Если бы мы знали

* Не сомневаюсь, что Клут-на-Бэйр следует возводить к гэльскому Cailleac Beag, что значит, собственно, старуха Бэйре. Бэйре, или Бэйр, или Вера, или Дэра, или же Дхера, была дама более чем заметная, возможно даже, Матерь Всех Богов собственной персоной. Стэндиш О'Грэйди считает местом постоянного ее обитания Лох-Лит, или Серое озеро, на горе Фьюз. Может быть, я просто плохо расслышал рассказчика или же сам рассказчик в данном случае ошибся, произнеся вместо Лох-Лит — Лох-Йа, ибо Лох-Лит в Ирландии, мягко говоря, название достаточно распространенное.

⁴⁶ Вероятнее всего, у Ренана в «Истории народа израильского» (1887).

об огнепоклонниках чуть больше, мы, глядишь, и выяснили бы ненароком, что долгие века благочестивого почитания не остались без награды и что огонь поделился с ними частичкой собственной своей природы; и я не уверен, что вода, вода морей и озер, тумана и дождя, вот только что не создала ирландцев по образу и духу своему. Образы сменяют друг друга перед нашими глазами непрерывной яркой чередой, как отражения в тихом зеркале озера. В старые времена мы предавались мифотворчеству и видели богов повсеместно. Мы жили с ними по-соседски и помним доньше о тех временах столько всяческих историй, что хватило бы с лихвой и на всю остальную Европу. Даже и сегодня крестьяне наши говорят по-прежнему с мертвыми и с теми, кто в нашем смысле слова никогда не умрет; а люди из образованных классов впадают без особого труда в то тихое и покойное состояние, которое служит обычно преддверием мира духов. Мы можем сделать наши души столь близким подобием вод, глубоких и тихих, что, может быть, иной природы существа для того и собираются вокруг, чтобы взглянуть на собственные свои в нас отражения и получить возможность, пусть на миг, жить жизнью более ясной, а то и более яростной — нашему безмолвию благодаря. Разве не говорил Порфирий⁴⁷ в мудрости своей, что всякая душа ведет свое начало от воды и «даже образы, которые рождаются в душах, рождаются из вод»?

Старый город

Однажды ночью несколько лет тому назад мне самому довелось испытать на себе нечто вроде чар фэйри.

⁴⁷ Греческий философ (233–304), неоплатоник, последователь Плотина.

Я отправился тогда за компанию с одним молодым человеком и его сестрой — мы были все трое друзья и некоторым образом даже родственники — к тамошнему сказителю послушать и записать его истории; и мы как раз возвращались домой, перебирая на ходу свежий свой улов. Было темно, мы только что наслушались историй о разных сверхъестественных разностях, и это обстоятельство вполне могло привести нас, без нашего ведома, на тот самый порог — между сном и явью, — где сидят, открывши глаза, Химеры и Сфинксы и где воздух всегда полон шепотков и шорохов. Мы зашли в тень деревьев, и на дороге сделалось совсем темно, как вдруг девушка увидела огонек, медленно пересекающий перед нами дорогу. Ни брат ее, ни сам я не видели ровным счетом ничего до тех самых пор, пока, примерно полчаса ходьбы спустя, сперва вдоль берега реки, потом по узенькой какой-то тропке, не добрались до небольшого поля, на котором видны были заросшие плющом развалины церкви и фундаменты жилых домов; местечко это называлось Старый город, и сожгли его, говорят, еще во времена Кромвеля. Насколько я помню, мы постояли там пару минут, оглядывая поле, заросшее сплошь кустами бузины и куманики, испещренное светлыми пятнами разрушенных стен; внезапно я увидел, совершенно ясно, маленький яркий огонек у самого горизонта, он двигался медленно вверх, так, словно бы взбирался на купол неба; потом, на несколько минут, нам всем троим явилась целая группа тусклых огоньков в отдалении, в полях, а под конец — еще один, очень яркий, похожий на пламя факела, пронесшийся быстро над самой рекой. Мы трое точно грезили наяву, и все происходящее вокруг казалось настолько нереальным, что я с тех пор так ни разу и не осмелился доверить события этого бумаге; более того, я и рассказывать-то о нем никому, пожалуй что, и не рассказывал, и даже в мыслях своих, повинувшись бес-

сознательному некоему импульсу, избегал придавать ему какой бы то ни было вес. Скорее всего, независимо от собственной сознательной воли, я не считал возможным доверять ощущениям своим в момент, когда чувство реальности происходящего было явственным образом ослаблено. Однако же несколько месяцев назад я снова встретился с двумя моими друзьями и получил возможность сопоставить их странным образом неясные воспоминания с моими собственными. Чувство ирреальности, охватившее нас в тот вечер, выглядит более чем удивительным, тем более что на следующий день я слышал звуки столько же необъяснимые, как и полуночные огни, однако безо всякого даже намека на подобного рода ощущения, и помню все, до мельчайших деталей. Девушка сидела и читала в нескольких ярдах от меня, возле большого, в тяжелой старомодной раме зеркала, я также читал, и вдруг раздался звук, резкий и громкий, так, словно кто-то швырнул в зеркало пригоршню сухого гороха; я поднял голову, и звук повторился еще раз; чуть погодя, когда я остался в комнате один, что-то явно большее по размеру, нежели горошина, ударилось в деревянную панель прямо у меня над ухом. Более того, в течение нескольких дней всяческого рода шумы и видения не давали покоя не только мне, но и девушке, и брату ее, и слугам. То это был возникший ниоткуда яркий свет, то письма на горящем очаге, которые исчезали прежде, чем их успевали прочесть, то тяжкие шаги, явственно звучащие в совершенно пустых комнатах. Нам остается только теряться и далее в догадках, не те ли это существа, что обитают, если верить крестьянам, в местах, где жили некогда люди, последовали за нами из развалин Старого города, или другие, подобные им, шли с нами и раньше, от берега реки, под деревьями, где в первый раз был явлен нам на несколько секунд блуждающий огонек?

Живые сапоги

Жил-был в Донегале один Фома неверующий, который даже и слышать не хотел ни о призраках, ни о фэйри; и стоял в Донегале дом, в котором, сколько помнили его люди, всегда было нечисто; а вот вам, собственно, история о том, как этот самый дом человека того проучил. Пришел он, значит, в этот дом, развел огонь в камине — как раз под комнатой, где баловались духи, — снял сапоги, поставил их к огоньку поближе, вытянул ноги и стал себе греться. Время шло, и неверие его в нем становилось оттого только крепче; однако, едва только спустилась ночь и стемнело везде и повсюду, один его сапог взялся вдруг чудить. Он приподнялся от пола на пару дюймов и вроде как прыгнул, но медленно так, в сторону двери, а за ним проделал то же и второй, а следом снова первый. И человеку тому стало казаться, что кто-то невидимый влез в его сапоги и теперь пытается выйти в них из комнаты вон. Сапоги дошли до двери и стали взбираться по лестнице вверх, а потом принялись выхаживать взад-вперед по «нехорошей» комнате у него над самой головой. Прошло несколько минут, и сапоги опять загромыхали по лестнице, потом в коридорчике за дверью, а потом один из них оказался на пороге, а другой прыгнул через него прямо в комнату. Они запрыгали таким манером прямо к тому месту, где человек тот сидел, а затем один сапог подскочил и дал ему хорошего пинка, а следом другой, и снова первый, и далее поочередно, пока они не выгнали его пинками сперва из комнаты, а после и из дома. Таким вот образом Донегал рассчитался со скептиком своим, вышвырнув его из дома пинками его же собственных сапог⁴⁸. Записей о том, был ли в этом деле замешан призрак или ши, не сохранилось,

⁴⁸ Английское выражение, аналогичное русскому «будь я на твоём месте», звучит буквально: «Если бы я был в твоих сапогах».

однако сама по себе форма возмездия, выдающая явную склонность к сценическим эффектам, вызывает руку ши, обитающих в самом сердце призрачного царства фантазии.

Трус

Как-то раз я гостил в доме одного моего друга, того самого крепкого фермера, что живет по ту сторону Бен-Балбена и горы Круп, и мне попался на глаза молодой человек, который в спутницах моих — а со мною были обе хозяйские дочки — вызвал явную неприязнь. Я их спросил, почему они его не любят, и услышал в ответ, что он трус. Меня это заинтересовало, ибо многие из тех, кого тесанные грубо дети природы принимают за трусов, суть всего-то навсего мужчины и женщины, чья нервная система настроена слишком тонко для повседневного крестьянского житья-бытья. Я постарался разглядеть этого парня поближе; но нет же: крепко сбитое тело, лицо — кровь с молоком, — в общем, ничего, что предполагало бы неподобающую тонкость чувств. Несколько времени спустя он рассказал мне свою историю сам. Жил он прежде жизнью лихой и беспутной, до тех самых пор, пока, два года назад, возвращаясь домой поздно ночью, не почувствовал вдруг, что опускается сквозь землю в мир духов. На какое-то время перед ним встало во тьме лицо его мертвого брата, тут он повернулся и бросился бежать. Остановился он только у крестьянского хутора, примерно в миле от того места. Он с разбегу ударился всем телом в дверь, с такою силой, что толстая деревянная щеколда переломилась, и он буквально упал внутрь, на пол. С той самой ночи он оставил прежнюю свою беспутную жизнь, но стал совершеннейшим трусом. Его никак невозможно было заставить даже взглянуть на то место, где он

увидел лицо брата, он готов был сделать крюк в две мили, чтобы только не идти по этой дороге; и ни одна девчонка, будь она хоть «первая красавица на всю страну», не дождется от него, чтобы он стал ее с вечеринки провожать до дома ночью, если только вместе с ним не пойдет еще кто-нибудь, так он сказал.

Три О'Бирна и злые фэйри

В сумеречном царстве есть и был от века явный переизбыток всяческих вещей красивых и ценных. Там больше любви, нежели на земле; там больше танцуют; и сокровищ всяких там тоже больше, чем у нас. Может быть, в самом начале земля и была создана так, чтобы удовлетворять по возможности желания на ней живущих, но с тех пор она давно успела состариться, и следы упадка ныне видны повсеместно. Что же удивительного в том, что мы пытаемся время от времени стянуть хотя бы что-нибудь из сокровищниц того, иного царства.

Один мой друг гостил как-то раз в деревне, неподалеку от Слив-Лиг. Случилось ему проходить мимо развалин старой крепости, называлась она, кажется, Кэшл-Нор. Человек с изможденным совершенно лицом, со спутанными волосами, одетый в невероятные лохмотья, забрался у него на глазах в развалины и принялся там рыть землю. Друг мой обратился к селянину, работавшему там же, невдалеке, и спросил, что это за человек. «Это третий О'Бирн», — был ответ. Несколько дней спустя ему удалось-таки выяснить, в чем тут дело: в языческие времена в крепости этой схоронили большое количество золота и прочих дорогих вещей и наложили заклятие на местных злых фэйри, заставивши их сторожить клад; но в один прекрасный день клад будет найден, и принадлежать он будет клану

О'Бирнов. До той поры трое О'Бирнов должны его найти и умереть. Двое уже сделали свое дело. Первый копал до тех пор, пока не ухватил краем глаза угол каменного саркофага, в котором, согласно преданию, и был спрятан клад; но тут же некое существо, похожее на огромных размеров косматого пса, примчалось откуда-то с гор и разорвало его в клочья. На следующее утро клад опять ушел глубоко в землю. Пришел второй О'Бирн, и принялся копать, и рыл землю, пока не нашел саркофаг; он поднял крышку и даже успел увидеть, как сверкнули внутри груды золота. Но в следующий миг глазам его предстало нечто настолько ужасное, что он тут же, не сходя с места, рехнулся и тоже вскоре умер. Клад же снова погрузился в землю. Теперь копает третий О'Бирн. Он уверен, что в тот же самый миг, как отыщет и поднимет наверх клад, умрет ужасной какой-нибудь смертью, но чары рассеются, и О'Бирны станут отныне и вовеки веков так же богаты, как были во время оно.

Один крестьянин из местных видел как-то раз этот самый клад. Он случайно подобрал с земли заячью берцовую кость. Поднял ее к глазам; в кости была просверлена дырка; он глянул сквозь дырку и увидел под землей кучу золота. Он бросился домой за лопатой, но, когда он вернулся обратно к развалинам старой крепости, места, где золото показалось ему, он так и не смог отыскать.

Драмклифф и Россес

Драмклифф и Россес были всегда и во веки веков пребудут — дай-то Бог! — обителями покоя воистину неземного. Мне приходилось жить от них недалеко, а время от времени и в самом сердце каждого из них; этому обстоятельству я и обязан множеству историй

о здешних ши. Драмклифф — обширная изумрудно-зеленая долина, раскинувшаяся у подножия горы Бен-Балбен, на которую сам святой Колумба⁴⁹, собственной персоной, выстроивший в долине множество монастырей, от коих давно уже остались одни развалины, взобрался как-то раз, чтоб вознести слова молитвы ближе к небу. Россес — небольшая выдающаяся в море песчаная пустошь, сплошь поросшая низкой и жесткой травой: словно светло-зеленую скатерть разостлали между круглой, увенчанной белым каирном Нокнарей и «Бен-Балбеном, где ястребы парят».

«Когда б не Бен-Балбен, не Нокнарей,
Скольких бы не было с нами парней» —

есть у местных моряков такая присказка.

На северной оконечности Россеса есть маленький мыс: скалы, песок, трава, местечко унылое и дикое. Мало кто из местных осмелился бы вздремнуть в тени невысоких тамошних утесов, потому как уснувший имеет шанс попасться на глаза тамошним фэйри и проснуться «странненьким» — они просто-напросто унесут его душу к себе. Кратчайшего хода в сумеречное царство, нежели через песчаный этот мыс, нет и не было, ибо где-то здесь есть невероятной длины и глубины пещера, занесенная ныне песками, «полная — в край — золотом-серебром и с превеликим множеством богатых покоев и залов». Давным-давно, когда вход в пещеру еще можно было при желании между дюнами отыскать, туда забрела, говорят, собака, и в развалинах форта, на расстоянии более чем изрядном от моря, люди слышали потом, как она там, глубоко под землей, воет. Этими фортами, крепостями, или, как здесь говорят, ратами, выстроенными задолго до того дня, с которого начала свой отсчет современная история, Россес и Колумкилле просто усеяны, в буквальном смысле слова.

⁴⁹ См. примеч. 2.

В том самом, где слышали собаку, есть, как и во многих других, подземные кельи. Как-то раз, из чистого любопытства, я забрался туда сам, и проводник мой, необычайно рассудительный и «читающий» местный крестьянин, оставшийся, понятно, на поверхности, в конце концов опустился у лаза на колени и сдавленным голосом крикнул мне: «Сэр, с вами все в порядке?» Я забрался достаточно далеко, он перестал меня слышать и испугался: а вдруг и меня, как ту собаку, утащили фэйри.

Этот форт, или рат, стоит на гребне невысокого холма, и недалеко, на склоне, разбросана горсть соломою крытых домиков. Однажды ночью сын тамошнего фермера вышел из дома и, обернувшись, увидел, что дом его весь в огне. Он бросился было назад, но тут на него «нашли чары», он вскочил верхом на забор, поджал ноги и принялся охаживать забор хворостиной, и забор казался ему самой настоящей лошадью. Так он и скакал верхом на заборе всю ночь, и многое по дороге видел, пока рано утром его оттуда не сняли и не увели в дом; в себя он полностью пришел только через три года. Вскоро после этого случая сам фермер решил скрыть рат до основания. Тут же у скотины его начался мор, все лошади и коровы сдохли одна за другой, и это было отнюдь не единственное постигшее его несчастье, а в конце концов его самого привели домой соседи, и он так и просидел до самой смерти возле очага, уткнувшись лбом в колени, и «ни толку от него не было, ни проку».

В нескольких сотнях ярдов к югу от Россеса есть еще один мыс, а на нем своя пещера, не занесенная, правда, песком и доньне. Лет двадцать тому назад у мыса этого потерпел крушение бриг; троих или четверых местных рыбаков оставили на берегу на ночь, чтобы никто не покусился на сидевший на камнях недалеко от берега корпус судна. Ровно в полночь они увидели на камушке у входа в пещеру двух скрипачей в красных

шапочках — те наяривали смычками что было мочи. Рыбаки дали деру. Немного погодя на берег высыпала целая толпа деревенских, прибежавших поглядеть на скрипачей, но тех и след уже простыл.

Для умудренных опытом местных жителей зеленые холмы и леса вокруг полны неувядающего чувства тайны. Когда пожилая крестьянка стоит в дверях своего домика и, по собственным ее словам, «глядит на горы и думает о благодати Божьей», Бог ближе к ней, чем к кому-либо другому, потому что иные, языческие боги ходят с нею рядом: ибо на северном склоне Бен-Балбена, где и в самом деле полным-полно ястребов, распахивается настезь на закате квадратная белая дверь и выезжает вниз, в долину, кавалькада явных нехристей на белых конях с красными ушами, а чуть дальше к югу из-под широкого белого чепца, окутывающего, что ни вечер, вершину Нокнарей, выходит Белая Леди, которая и есть, вне всякого сомнения, сама королева Мэйв. Да разве может она в подобных вещах усомниться хоть на минуту, пусть даже священник и качает недовольно головой, слушая подобного рода бредни? Разве, не так уж давно, пастушок из соседней деревни не видел Белую Леди своими глазами? Она прошла так близко, что даже задела его краем юбки. «Тут он упал и три дня лежал, как словно мертвый».

Как-то вечером, покуда миссис Х. угощала меня замечательными своими коржиками, ее муж рассказал нам достаточно длинную историю, едва ли не самую занятную из всего, что я слышал на пустоши Россес. Не один бедолага со времен Финна Мак-Кумала⁵⁰ мог бы рассказать о подобном же приключении, ибо Добрый Народец не прочь время от времени повторить старую добрую шутку. Для того чтоб в этом убедиться, достаточно послушать десяток рассказчиков из десяти разных мест — либо сами они, либо самые близкие

⁵⁰ Военачальник при короле Кормаке Мак-Арте.

их знакомые удивительно часто попадают в ситуации, схожие до крайности. «В те времена, когда нам часто приходилось ездить по каналу, — начал он, — возвращался я как-то раз из Дублина домой. Когда мы добрались до Маллингара, канал кончился, и дальше мне пришлось идти пешком; а мы столько времени тащились по каналу, что у меня все тело затекло, и устал я, что твоя собака. Со мной было несколько человек приятелей, и мы то пешком шли, а не то кто-нибудь подвозил нас немного на телеге. Так мы и брели себе, пока не увидели возле дороги девчонок — они доили коров — и не остановились, чтобы поговорить с ними, пошутить и все такое. Слово за слово, ну, в общем, попросили мы у них молока. „Нам тут и нацедить-то не во что, — они нам говорят, — пойдите к нам домой“. Мы пошли к ним домой, сели у очага и ну чесать языками. Чуть погода товарищи мои ушли, а я остался — уж больно мне не хотелось отрываться от огня и от приятной беседы. Я спросил у девчонок, не найдется ли у них чего перекусить. Над огнем висел котел, они вынули оттуда мясо, положили его на блюдо и велели мне есть только там, где оно совсем уже сварилось, в самый раз. Когда я поел, девчонки как-то разом все ушли, и больше я их не видал. Дело шло к вечеру, а я все сидел себе и сидел, и так уж мне не хотелось никуда идти. Чуть погода в дом вошли двое мужчин, и они тащили на себе покойника, за руки и за ноги. Я, едва их увидал, тут же схоронился за дверь. Ну, они проткнули покойника вертелом, и один другому говорит: „А кто будет вертеть мясо над огнем?“ А другой ему в ответ: „Эй, Майкл Х., давай-ка выбирайся из-за двери, будешь мясо вертеть“. Я, конечно, вылез, зуб на зуб со страху не попадает, и принялся поворачивать вертел. „Майкл Х., — говорит мне тот, что первым подал голос, — если мясо подгорит, мы тебя самого на вертел и насадим“, и с этими словами оба они ушли. Так я там и сидел до полуночи, дрожал и поворачивал вертел. В полночь они вернулись,

и один сказал, что мясо подгорело, а другой — что зажарилось в самый раз. Они стали ссориться из-за мяса, но порешили оба на том, что меня все ж таки на сей раз трогать не стоит; они уселись было у огня, и вдруг один как крикнет: „Майкл Х., а расскажи-ка ты нам сказку!“ — „Черта лысого, — говорю, — тебе, а не сказку“. Тут он хватъ меня за плечо да и вышвырнул вон. А снаружи-то буря, мгла, просто черт знает что. Я за всю свою жизнь худшей ночи не видел. И тьма — хоть глаз коли. Так что когда один из них вышел из дому, и хлопнул меня по плечу, и спросил: „Майкл Х., ну а теперь? теперь ты согласен рассказать нам сказку?“ — так я с готовностью ему ответил: „Да, расскажу“. Он впустил меня в дом, посадил у очага и говорит: „Ну, начинай“. — „Я, — говорю, — знаю одну только сказку. Как сидел я на этом самом месте и пришли двое, вы самые, притащили покойника, а потом насадили его на вертел и поставили меня вертеть его над огнем“. „Что ж, — говорит он мне, — вполне подходящая сказка. Ну ладно, иди ложись вон там и спи себе с миром“. И я пошел, как было сказано, и лег; а наутро проснулся посреди зеленой лужайки, на травке!»

Редкий год в Драмклиффе не являются какие-нибудь предзнаменования и знаки. Перед удачной путинной многие видят в небе сельдевую бочку в обрамлении грозового облака; а в месте, называемом здесь Колумкиллевлес, где сплошь трясина и топь, наблюдают в подобных же случаях древнее судно, выплывающее из дали морской, и правит им сам святой Колумба. Бывают, впрочем, и дурные знамения. Несколько путин тому назад один рыбак видел у самого горизонта знаменитую Хай-Бразил⁵¹, берег, где всякий, кто бросит якорь, не найдет ни забот, ни печали, ни насмешек и брани

⁵¹ Богатый и плодородный сказочный остров к западу от Ирландии, описанный в «Ирландских сказителях» Джеймса Хардмана (1831).

и будет гулять всю жизнь в тенистых рощах и наслаждаться беседою с Кухулином и прочими героями времен стародавних. Все, однако же, уверены, что явление Хай-Бразил предвещает какое-нибудь национальное бедствие.

Драмклифф и Россес просто битком набиты духами. На болотах ли, у дорог, в ратах, на склонах холмов и у берега моря они являются во всех мыслимых видах: безголовые женщины, мужчины в доспехах, призрачные зайцы, псы с огненными языками, тюлени-свистуны и так далее и тому подобное. Буквально на днях такой вот тюлень-свистун потопил у самого берега судно. Есть в Драмклиффе кладбище, древности невероятной, в «Анналах четырех магистров»⁵² имеется запись о воине по имени Денадах, умершем в 871 году: «Верный долгу своему боец из племени Конна лежит в Драмклиффе под крестом орехова дерева». Не так давно одна старушка зашла поздно ночью на кладбище помолиться, и вдруг перед нею встал человек в стальных доспехах и спросил ее, куда она идет. Местные, все как один, уверены, что это был «верный долгу своему боец из племени Конна»⁵³, который и после смерти с принятою в древние времена верностью долгу своему несет на кладбище бессрочную вахту. Здесь все еще в ходу обычай spryskivatiy porog в доме, где умер маленький ребенок, куриной кровью, чтобы отвлечь от слабенькой его души злых духов. Злые духи вообще падки на кровь. Если ты, перебираясь через стену в развалины форта, поранишь нечаянно руку, жди неприятностей.

Самый чудной в Драмклиффе и Россесе дух — это призрак в образе бекаса. В одной хорошо мне знако-

⁵² Историческая хроника, охватывающая события со времен легендарных до 1616 года. Составлялась с 1632 по 1636 год.

⁵³ Согласно традиции короли Конн Ста Битв и Мут Нуадат (он же Эоган Мор) поделили между собой Ирландию, причем Конн взял север, а Эоган — юг. С тех пор северяне называют себя «людьми из племени Конна», а южане — «людьми из племени Эогана».

мой деревне стоит за домом куст: я не стану говорить, в Драмклиффе ли эта деревня, в Россесе, на склонах ли Бен-Балбена или даже на равнине близ Нокнарей, у меня на то свои причины. У дома и у куста есть история. Жил когда-то в доме этом человек, который нашел на пристани в Слайго пакет, а в пакете — три сотни фунтов ассигнациями. Пакет обронил на пристани капитан-иностранец. И человек этот о том знал, но не сказал никому ни слова. Деньги предназначены были в уплату за фрахт, и капитан, не осмелившись показаться судовладельцам на глаза, вышел в море и там, посреди океана, покончил с собой. А вскоре после того умер и человек, подобравший на пристани деньги. И душа его никак не могла успокоиться. По крайней мере, в доме стало твориться черт знает что. Люди, которые еще помнят всех участников этой истории, говорят, что сами видели, как его жена молилась возле этого самого куста за душу покойного, являвшуюся там чуть не каждую ночь. Куст стоит за домом и по сей день; когда-то он был частью живой изгороди, изгороди давно уже нет, но к нему никто бы не осмелился даже подступиться с топором или лопатой. Что же до странных звуков и голосов, они не прекращались до тех самых пор, пока несколько лет назад во время ремонта из цельного куска штукатурки не вылетел вдруг бекас и не умчался прочь; с этого дня, по словам соседей, дух падкого на деньги земляка обрел наконец-то покой.

Все эти долгие годы предки мои и родственники жили и живут в окрестностях Драмклиффа и Россеса. Всего несколько миль к северу — и я уже совершеннейший чужак, и ничего мне там не найти по этой самой причине. Когда я спрашиваю там о фэйри, то чаще всего получаю в ответ что-нибудь вроде (я привожу слова женщины, живущей возле форта из белого камня, одного из немногих в Ирландии каменных ратов, на приморских склонах Бен-Балбена): «У них свои дела,

у меня свои, и мы друг другу не родня». Подобного рода разговоры, видите ли, могут быть чреватые для болтуна всяческого рода неприятностями. Только личная к вам привязанность или детальное знакомство с вашей родословной вплоть до энного колена способны развязать осторожные эти языки. Один мой друг (имени его я называть не стану, чтобы не дать повода к сплетням)⁵⁴ обладает удивительным искусством: ему раскрываются души самые что ни на есть замкнутые, но он взамен снабжает эти перегонные кубы зерном из собственных своих угодий. Кроме того, он по прямой линии потомок известного гэльского чародея, и у него есть что-то вроде основанного на праве давности собственного негласного права знать обо всем, что касается существ из иного мира. Они ему как-никак родня, если верить тому, что о происхождении подобного рода людей говорят в народе.

Крепкий череп, божий дар

Как-то раз исландские крестьяне нашли на кладбище, где был когда-то похоронен знаменитый их поэт по имени Эгил⁵⁵, череп с необычайно толстыми стенками. Сама по себе толщина костей убедила их в том, что череп сей принадлежал человеку необыкновенному, а именно Эгилу собственной персоной. Для уверенности они положили череп на каменную стену и при-

⁵⁴ Речь идет о Дугласе Хайде (1860–1949), фольклористе, специалисте по гэльскому языку и первом президенте Ирландии (1937–1945). Родился во Фрэнчпарке, графство Роскоммон, сын священника. Гэльский язык изучать начал с детства. Один из основателей (1893) и первый президент Гэльской лиги. Профессор Дублинского университета с 1909 года.

⁵⁵ Герой исландской саги «Эгил», повествующей о странствиях Эгила, сына Скаллагрма, врага Эрика Кровавый Топор.

нялись лупить по нему молотком. Там, куда молоток попадал, оставались белые отметины, но сам череп даже и не треснул, что убедило их окончательно: это череп поэта и заслуживает как таковой всяческого почитания. У нас здесь, в Ирландии, много общего с исландцами, или с «ланами», как мы привыкли называть и их самих, и прочих скандинавов. В некоторых горных и просто отдаленных районах и в деревнях на побережье мы до сих пор проверяем друг друга на прочность тем же самым способом, каким исландцы проверяли на подлинность череп Эгила. Возможно, мы унаследовали обычай сей от данских пиратов, чьи отдаленные потомки, как объяснили мне в Россесе, до сих пор помнят каждое поле, каждый холмик на когда-то принадлежавших им землях Ирландии и могут описать тебе Россес из края в край, не хуже любого из местных. Есть на побережье место, которое так и называется — Тычки, мужчины там все, как один, рыжие, не бреются отродясь и бород не стригут, так вот там и дня не проходит без драки. Я видел, как они перессорились между собой на лодочных гонках и после рыкающей перебранки на гэльском принялись дубасить друг друга веслами. Передняя лодка встала бортом и не дала пройти второй, явно ее нагонявшей, причем гребцы орудовали длинными своими веслами вовсю, и только для того, чтобы победа досталась третьей. В Слайго мне рассказали историю о том, как одного человека из Тычков судили в Слайго за то, что он проломил кому-то в драке череп. Человек этот прибег в защиту свою к аргументу в Ирландии небезызвестному: есть, мол, на свете головы настолько хлипкие, что вменять кому-либо за них ответственность просто смысла нет. После чего он обернулся, окинул полным презрения взглядом стряпчего, выступавшего от имени обвинения, и воскликнул: «Вот у этова фитюльки, если дать ему как следоват, черепушка разлетится враз, что твое яйцо, — а затем

просиял на судью улыбкой и добавил голосом льстивым до крайности: — А вот по вашей милости черепу лупи себе хоть две недели».

* * *

Я писал все это много лет назад, опираясь при этом на воспоминания, которые и тогда уже быльем поросли. Совсем недавно я сам побывал в Тычках и нашел их во всем подобными сотням других таких же заброшенных, забытых Богом местечек. Я, должно быть, имел тогда в виду Мугороу, место куда более дикое; на детские воспоминания надежда небольшая, уж больно хрупкая это вещь.

1902

Молитва моряка

Капитанам дальнего плавания, когда они стоят на мостике или глядят себе из окон рубки, часто приходится думать о мироздании и о Боге. В родных долинах, среди маков и спеющей ржи, человек вправе забыть обо всем на свете, кроме теплых лучей солнца, ласкающих кожу лица, и приветливой тени под изгородью; но тот, кто ходил сквозь тьму и шторм, думать просто обязан. Однажды, пару лет тому назад, мне довелось ужинать с капитаном Мораном на борту парохода «Маргарет», который по дороге из бог весть откуда в бог знает куда бросил якорь в Слайго. Я нашел его человеком весьма осведомленным в самых разных областях, более того, как это часто бывает с моряками, знания его приправлены были очарованием сильной и цельной личности.

— Сэр, — спросил он меня, — вы слышали когда-нибудь о капитанской молитве?

— Нет, — ответил я, — просветите меня, темного.

— Звучит она так, — был ответ: — О Господи, застегни мне душу на все пуговицы⁵⁶.

— И что сие означает?

— Это значит, что, когда они врываются ночью ко мне в каюту, будят меня и кричат: «Капитан, все кончено, мы идем ко дну», я дурака из себя им делать не позволю. Вот, к примеру, сэр, были мы, значит, как раз посередине Атлантики, стою я себе на мостике, и тут подымается ко мне мой третий, а вид у него — любо-дорого, краше в гроб кладут. И говорит: «Капитан, нам крышка». Я ему: «Ты, когда подписывал контракт, не знал, что столько-то процентов судов каждый год идет ко дну?» — «Так точно, сэр, знал», — говорит; а я ему: «А разве тебе не заплатили за то, чтобы ты сам пошел ко дну?» — «Так точно, — говорит, — сэр»; и я тогда ему сказал: «Тогда застегнись на все пуговицы и утони как человек, черт тебя подери!»

О близости неба, земли и чистилища

В Ирландии этот мир и мир, в который мы попадем после смерти, расположены совсем неподалеку друг от друга. Я слышал об одном призраке, который много лет подряд обитал одновременно в стволе дерева и под сводом старого моста, а моя старуха из Мэйо рассказала мне следующее: «У меня в деревне есть куст, и люди говорят, что под ним отбывают наказание свое сразу две души. Когда ветер дует в одну сторону, у одной

⁵⁶ В оригинале — непере译имое на русский адекватно выражение «Stiff upper lip», то есть буквально капитан просит Небо о твердой (и одновременно неподвижной, негибкой, непреклонной, одеревенелой, чопорной, «натянутой») верхней губе. Выражение это давно уже стало ходячим и обыграно было не раз. В частности, один из сборников юмористических рассказов Лоренса Даррелла из жизни дипломатов — излюбленного предмета для неиссякаемой его иронии — так и называется «Stiff upper lip».

есть где от ветра укрыться, а когда он дует с севера, то греется другая. Он потому весь и перекрученный такой, что они все липнут к нему и тянут каждая на себя. Я-то сама в это не верю, но многие у нас ночью мимо этого куста ни в жисть не пошли бы». И в самом деле, бывают времена, когда миры соприкасаются столь тесно, что земные наши приобретения кажутся всего лишь тенями вещей иных, горних. Одна моя знакомая дама увидела как-то раз деревенскую девочку, бежавшую по улице в длинной нижней юбке, причем подол волочился за ней по земле; она спросила девочку, почему бы не подрубить ей юбку покороче. «Это бабушкина юбка, — сказала девочка в ответ, — вы что, хотите, чтобы она слонялась тут по всей округе, задравши подол по самое мое? а она ведь и умерла-то — всего три дня прошло». Я читал об одной женщине, которая стала после смерти являться родственникам потому, что они ее похоронили в слишком коротком саване, и угли Чистилища обожгли ей коленки. Крестьяне искренне уверены в том, что за гробом их ждут такие же точно дома, только крыша там никогда не течет, а стены подновлять не надо, они и так все время белые, и в кладовке всегда полно доброго масла и молока. И только изредка забредет какой-нибудь лендлорд, или землемер, или сборщик налогов — поклянчить Христа ради хлебца и тем продемонстрировать, каким, собственно, образом Господь отделяет агнцев своих от козлищ.

1892 и 1902

Едоки драгоценных камней

Порой, когда я далеко от суматохи дел и мнений, когда я забываю ненадолго о собственной суетности, мне приходят грезы наяву, то призрачные и зыбкие, то живые и в достоверности своей осязаемые не хуже,

чем твердь земная под ногами. Однако туманна ли их плоть или видима ясно, они приходят и уходят, повинуюсь собственным своим законам, они кочуют мимо, они возникают и гаснут, и не в моей власти повелевать ими. Однажды я увидел смутно, как сквозь дымку, огромную черную яму и парапет вокруг нее; на этом парапете сидела бесчисленная стая обезьян, и все они ели драгоценные камни, целые пригоршни драгоценных камней. Камни взблескивали зеленым и алым, и обезьяны пожирали их с жадностью неопишуемой. Я знал, что вижу собственный свой Ад, Ад художника, что все, кто ищет прекрасного, кто алчет слишком жадно чуда, теряют в конце концов мир и внутреннюю целостность и обращаются в посредственность, без формы и смысла. Мне довелось заглянуть и в чужие глубины, в Ад, уготованный не мне; я видел inferнального привратника, адского Петра с черным лицом и белыми губами, он взвешивал в присутствии неясных чьих-то теней на странной формы двойных весах не только дурные их дела, но и добрые, которые они могли бы совершить, но оставили, однако же, невоплощенными. Я видел, как чаши весов ходили вверх и вниз, но, как ни старался, так и не смог разглядеть, чьи же тени толпились вокруг. В другой раз я видел бесчисленных бесов всех видов и форм — рыбообразных, змееподобных, обезьяноликих и песьеголовых, сидящих вокруг черной ямы, совсем как в собственном моем Аду; и все они глядели вниз, на отражение Небес, сиявшее им подобием луны из самых глубин черной ямы.

Матерь Божья на горах

Когда мы были дети, мы не говорили «как отсюда до почты» или «как от зеленой лавки до мясной», но измеряли расстояние и время, опираясь на заложенный

массивною крышкой колодец в лесу или на старую лисью нору. Мы были тогда в ряду творений Божьих, мы были под Его рукой, и многие древние слова и вещи были понятны нам без объяснения, были близки и еще — были нам ровесники. Мы бы не слишком в те дни удивились, найди мы в горах рядом с выводком белых грибов сияющий след ноги ангела, потому что нам ведомо было отчаяние, бездонное, как море, и простая, без осознания причин и следствий, любовь, и всякое иное вечное чувство — ныне же ноги наши опутала ловчая сеть. Однажды я получил письмо от знакомой девушки-протестантки, которая отправилась как-то раз в горы за этими самыми белыми грибами, — она красива сама по себе да еще и одета была в прелестное белоголубое платье, — так вот, девушка эта повстречала в горах стайку крестьянских детишек и стала частью их общей грезы. Едва увидев ее, они попадали тут же наземь, личиками вниз, прямо там, где стояли; потом подошли еще двое или трое, все прочие встали и последовали за ней с некоторой даже потугой на смелость. Она заметила, что они ее боятся, а потому, пройдя еще немного, остановилась и протянула к ним руки. Крохотная девчушка тут же бросилась к ней в объятья с криком: «Ах, ты же Дева Мария, прямо с картинки!» — «Нет, — сказала другая такая же и тоже подошла поближе, — она небесная фея⁵⁷, она одета в цвет неба». — «Нет, — сказала тут же третья, — это наперстянковая фэйри, только она выросла совсем большая». Все прочие дети решили, однако, что она, скорее всего, Дева Мария, потому что одета она в платье подходящих цветов. Ее доброе протестантское сердце не могло, конечно, не встревожиться при виде идолопоклонства столь явного: она усадила их кружком и попыталась объяснить, кто она такая, — им, однако, объяснений не требовалось. Обнаружив полную бесперспективность

⁵⁷ По-английски что фея, что фэйри — все едино.

доводов сколь угодно разумных, она спросила их, приходилось ли им слышать о Христе. «Да, — тут же отозвался ей голосок, — но Он нам не нравится, потому что Он бы нас всех поубивал, если бы не Дева». — «Скажи Ему, чтобы Он на меня не сердился», — кто-то принялся шептать ей на ухо. «Он и говорить со мной не хочет, потому что отец на меня ругается, что я бесенок», — выкрикнула еще одна девочка.

Она долго говорила с ними о Христе и об апостолах, пока конец беседе не положила проходившая мимо старушка с клюкой; та приняла ее, должно быть, за отчаянного некоего миссионера, охотника до неокрепших в католической вере душ, а потому увела детишек прочь, не обращая внимания на все их разъяснения насчет Царицы Небесной, которая спустилась с неба, чтобы побродить по горам и поговорить с ними ласково. Когда дети ушли, девушка пошла своей дорогой, но не успела отойти и на полмили, как из канавы, шедшей параллельно просеке, чуть выше по склону, выскочила та самая девочка, которую отец обзывал бесенком, и сказала: она, мол, поверит, что перед ней «обыкновенная леди», если на той надеты две юбки, потому как «на ледях всегда по две юбки». «Две юбки» были предъявлены, и девочка, разочарованная донельзя, поплелась уныло прочь; однако же несколько минут спустя выскочила опять же из канавы и закричала, обиженно и зло: «Папка бес, мамка бес и я тоже бес, а ты — обыкновенная леди» — и, зашвырнув в обидчицу свою пригоршню глины и мелких камушков, разревелась и убежала прочь. Когда моя прекрасная протестантка добралась наконец до дому, она обнаружила, что потеряла где-то дорогой кисточку со своей парасольки. Год спустя она оказалась случайно на той же самой горе, на сей раз в простом черном платье, и навстречу ей попалась девочка, которая год назад первая назвала ее Девой Марией, прямо с картинки. Кисточка, та самая потерявшаяся кисточка, болталась у девочки на шее; зна-

комая моя сказала: «Здравствуй, я та леди, что была здесь в прошлом году и говорила с вами о Христе». — «Нет, не ты! нет, не ты! нет, не ты!» — отчаянно прозвучало в ответ.

Золотой век

Не так давно, помнится, я сидел в поезде, и поезд подъезжал уже к Слайго. Когда я был там в последний раз, что-то меня тревожило, и я все ждал какого-то послания от существ, или бесплотных состояний духа, или кто они там ни есть, короче говоря, от тех, кто населяет призрачное царство. Знак был мне явлен: однажды ночью, лежа между сном и явью, я с ослепительной достоверностью увидел черное существо, наполовину ласку, наполовину пса, бегущее быстро по верху каменной стены. Потом черный зверь вдруг исчез, и из-за стены появилась другая похожая на ласку собака, но белая, я помню, как просвечивала сквозь белую шерсть розовая кожа и вся она окружена была ярким сиянием: я тут же вспомнил крестьянскую сказку о двух волшебных псах, бегущих друг за другом непрерывно, и один из них день, другой — ночь, один — добро, другой же зло. Великолепный сей знак совершенно меня в тот раз успокоил. Теперь, однако, я жаждал послания иного совершенно рода, и случай, если то был случай, мне его вскоре доставил: в вагон вошел нищий и стал играть на скрипке, сделанной едва ли не из старого ящика изпод ваксы. Я не слишком-то музыкален, но звуки скрипки наполнили меня странным чувством. Мне казалось, я слышу голос, жалобу из Золотого века. Этот голос говорил мне, что мы несовершенны, что нет в нас цельности, что мы давно уже не тонкое кружевное плетение, но как куски шпагата, которые скрутили за ненужностью в узел и зашвырнули в чулан. Он говорил, что

мир однажды был совершенен и добр, и совершенный и добрый сей мир все еще существует, но только он похоронен, как розовый букет под сотнею лопат песка и глины. Фэйри и самые невинные из многочисленного племени духов населяют его и скорбят о падшем нашем мире в бесконечном и жалобном плаче, который слышится людям порой в шорохе камыша под ветром, в пении птиц, в горестном стоне волн и в сладком плаче скрипки. Он говорил, что среди нас красивые обычно неумны, а умные некрасивы; и что лучшие наши минуты испорчены безнадежно тончайшею пылью вульгарности или булавочным уколом печального воспоминания; и что скрипке плакать и плакать о нас до скончания века. Он сказал, наконец, что, если бы только жители Золотого века могли умереть, нам стало бы легче и мы, может быть, были бы даже счастливы, потому что смолкли бы тогда печальные их голоса; но они обречены петь, а мы — плакать до тех самых пор, пока не откроются всем нам врата вечности.

Упрек шотландцам, утратившим доброе расположение собственных духов и фэйри

Вера в фэйри бытует до нынешнего дня не в одной только Ирландии. Буквально позавчера мне рассказали об одном шотландском фермере, который был искренне уверен в том, что в озере, прямо у него под окнами, обитает водяная лошадь. Она внушала ему страх, а потому он потратил уйму времени и сил, пытаясь выловить ее сетью, а потом и вовсе взялся озеро свое осушить. Боюсь, доберись он в конце концов до лошади, ей бы не поздоровилось. Ирландский крестьянин

в подобной ситуации давно бы уже наладил с «бесом» отношения вполне добрососедские. Ибо в Ирландии вообще между людьми и духами существует, как правило, некий застенчивый взаимный интерес. Если они начинают строить друг другу козни, то не без оснований на то; каждый признает за противной стороной право на личные, особенные и не всегда понятные мотивы и чувства. И есть такие рамки, за которые ни одна сторона выходить не станет. Ирландский крестьянин ни за что на свете не стал бы обращаться с пленным фэйри так, как это сделал человек, чью историю поведал нам Кэмпбелл⁵⁸. Человек тот поймал женщину-келпи⁵⁹ и привязал ее к лошади позади себя. Она была вне себя от ярости, но он привел ее к повиновению, вогнав в нее разом иголку и шило. Они подъехали к реке, и она вся просто извелась от страха: ей, кажется, нельзя было пересекать любую текущую воду. Он еще раз вогнал в нее иглу и шило. Тогда она взмолилась: «Коли меня шилом, но пусть этот твой тонкий, на волосок похожий раб (игла. — У. Б. Й.) меня не трогает». Они доехали до постоянного двора. Человек схватил фонарь и принялся на нее светить; она стекла тут же наземь, быстро, «как падающая звезда», и превратилась в кусок студня. Конечно же, она умерла. Не стали бы ирландцы вести себя с фэйри и так, как то описано в старой хайлендерской балладе. Один тамошний фэйри присматривал, из чистой расположенности, за маленькой девочкой, ходившей резать торф на склоне его холма. Каждый

⁵⁸ Джон Фрэнсис Кэмпбелл (1825–1885) — издатель «Устных народных сказок Западных Хайлендов» (1860–1862). Хайленд — горный север Шотландии, населенный, в отличие от «цивилизованного» и англоязычного Лоуленда, шотландцами, осознающими свою кельтскую «инаковость».

⁵⁹ Келпи в Шотландии — народец весьма, в сущности, неприятный. Это водяные, которые заманивают корабли на рифы и топят потом всю команду. Ср. ирландских фэйри-скрипачей в тексте «Драмклифф и Россес».

день этот фэйри высовывал из-под земли руку, а в руке у него был волшебный нож. Девочка брала у него нож и резала им торф. Времени это у нее занимало совсем немного — ведь нож-то был заколдованный. Но вот ее братья заподозрили, что дело тут нечисто. В конце концов они решили проследить за ней и выяснить, кто же ей помогает. Они увидели, как из-под земли выросла маленькая, словно бы детская, рука и девочка взяла из той руки нож. Когда она нарезала столько торфа, сколько ей было нужно, девочка трижды ударила рукояткою ножа оземь. Тут же из склона холма опять выросла рука подземного ее благодетеля. Братья выхватили у девочки нож и одним ударом руку эту отсекли. И фэйри тот никому больше в тех местах не показывался. Он втянул искалеченную руку свою обратно под землю, уверенный, как гласит текст, что девочка его предала.

Вы, шотландцы, народ слишком мрачный, вы теологи до мозга костей. У вас даже дьявол и тот исправный прихожанин. «Где ты живешь, добрая женщина, и как здоровье вашего священника?» — спросил он ведьму, встретив ее ночью на проезжей дороге, как то позже выяснилось на суде. Вы сожгли всех своих ведьм. Мы же в Ирландии оставили их в покое. Правда, если быть точным, одной из них «лояльное меньшинство» вышибло-таки глаз капустной кочерыжкой в городе Каррикфергус 31 марта 1711 года. Но ведь «лояльное меньшинство» наполовину состоит именно из шотландцев⁶⁰. Вы совершили сногшибательное открытие: все фэйри, как один, суть язычники, и язычники злостные. И на этом основании вы с готовностью отдали бы их всех под суд. В Ирландии те смертные, которые не прочь подражаться, часто уходили к фэйри и принимали участие

⁶⁰ «Лояльное меньшинство», проживавшее в Ирландии, когда вся она была еще частью Британской Империи, — протестанты, пресвитериане. Изрядная их часть, сосредоточенная в основном в северных Ольстерских графствах, и в самом деле переселилась сюда в XVII веке из Шотландии.

в их сражениях между собой, а те, в свою очередь, научили людей искусству врачевания при помощи трав, а некоторым дали волю слышать даже и волшебную свою музыку. Кэролан⁶¹ провел однажды ночь в зачарованном рате. И всю жизнь потом у него звучали в голове их мелодии; оттого-то он и стал таким великим музыкантом. Вы, шотландцы, проклинали фэйри с амвона. В Ирландии же им было разрешено обращаться к священникам по вопросам, связанным со статусом их душ. К несчастью, священники пришли в конце концов к выводу, что душ у них нет и что они растают, подобно яркому, но призрачному миружу в последний день Творения; но решение это было принято скорее с грустью, нежели со злорадством. Католическая вера любит жить в мире со своими соседями.

Эти два подхода, столь разные между собой, повлияли и на сам характер царства духов и гоблинов в каждой из двух стран. Если вас интересуют истории об их добрых и забавных проделках, вам нужно ехать в Ирландию; за историями страшными добро пожаловать к шотландцам. В ирландских наших «страшилках» всегда есть элемент игры, притворства. Когда селянин забредает ненароком в заколдованную избушку и его заставляют там вертеть всю ночь над огнем насаженный на вертел труп, это нас не очень-то пугает: мы знаем, что он проснется наутро посреди зеленого луга, весь вымокший от утренней росы. В Шотландии все иначе. Вы и в самом деле утратили былую благорасположенность к вам призраков ваших и гоблинов. Волынщик Мак-Криммон с Гебридских островов взял свою волынку и отправился, играя громко на ходу, в грот на берегу моря; и с ним пошла его собака. Люди, оставшиеся

⁶¹ *О'Кэролан Турлох* (1670–1738) — арфист и композитор. Родился в графстве Мит, слепой от рождения. Ему покровительствовала сохранившаяся еще в те времена гэльская знать. В конце XVIII — начале XIX века многие его песни были собраны Эдвардом Бантингом.

снаружи, долго еще слушали музыку. Он прошел под землей, должно быть, не менее мили, а потом до них донеслись звуки борьбы. Волянка смолкла — как отрезало. Прошло еще сколько-то времени, и из грота выползла собака — с нее живой содрали шкуру; она была при последнем издыхании, и сил у нее не доставало даже на то, чтобы скулить. Есть еще одна подобная история о человеке, который нырнул в озеро, где, по слухам, на дне был спрятан клад. На дне он и в самом деле увидел огромный железный сундук. Рядом с сундуком лежало чудовище, велевшее ему ни секунды не медля возвращаться туда, откуда он спустился. Он поднялся на поверхность; но те, что были в лодке, узнав, что он таки видел клад, упростили его нырнуть еще раз. Он нырнул. Чуть погодя со дна всплыли сердце его и печень, и вода замутилась кровью. Что стало с прочими частями тела, так никто никогда и не узнал.

Подобного рода водяные и другие подводные чудовища весьма характерны для шотландского фольклора. У нас они тоже встречаются, но мы боимся их куда как меньше. Один из таких монстров обитает в реке Слайго, в омуте. Вся округа искренне верит в его существование, но это не мешает крестьянам так и сяк сюжет этот обыгрывать и окружать сей непреложный факт домыслами самыми невероятными. Когда я был маленьким мальчиком, я отправился в один прекрасный день к «нехорошему» омуту ловить угрей. Возвращаясь домой с огромным угрем на плече — голова его свешивалась у меня спереди, а хвост тащился сзади по земле, я повстречал по дороге знакомого рыбака. Я тут же принялся рассказывать ему о невероятных размеров угре, в три раза большем, чем мой, который оборвал мою лесу и ушел себе, как ни в чем не бывало, в глубину. «Да, это он и есть, — сказал рыбак. — Ты слышал, как он заставил моего брата эмигрировать? Мой брат был, сам знаешь, ныряльщик и подрядился в управление гавани расчищать от камней дно. И вот однажды

под водой подплывает к нему это чудище и спрашивает человеческим голосом: „Ну, и что ты здесь забыл?“ — „Камни, сэр, — говорит ему мой брат, — я собираю камни“. — „Слушай, а не лучше ли будет, если ты уберешься отсюда подобру-поздорову?“ — „Так точно, сэр“, — ответил ему мой брат. Вот потому-то он и эмигрировал».

Война

Когда некоторое время тому назад прошел слух о войне с Францией, я встретил в Слайго одну свою знакомую, бедную солдатскую вдову, и зачитал ей фразу из письма, только что полученного мной из Лондона: «Народ здешний просто с ума посходил, все жаждут воевать, но Франция, кажется, настроена миролюбиво», — или что-то вроде того. Она за всю свою долгую жизнь о войне передумала немало — война представлялась ей частично по рассказам солдат, частью же по традиции, связанной с восстанием 1798 года⁶², — но при слове «Лондон» интерес ее удвоился: в Лондоне у нее была масса знакомых, да и ей самой пришлось как-то жить в «перенаселенном этом месте». «Они в Лондоне только что не на голове друг у дружки живут. Потому и устают от мирной жизни. Они там только и мечтают, чтобы их всех поубивали. Оно бы, может, и к лучшему; да только французы-то наверняка ничего, кроме мира да спокойствия, и не желают. Здешний-то народ, ежели война начнется, тоже особо возражать не станет. Они тут какие есть — такие есть, не лучше и не хуже. И могут не хуже разных прочих перед лицом Господа нашего умереть на поле брани, по-солдатски. Я думаю, уж на небе-то их расквартируют получше, чем здесь».

⁶² Во время восстания «Объединенных ирландцев» в 1798 году войска революционной Франции высадились в Ирландии, чтобы помочь восставшим против англичан.

Потом она стала говорить, что не слишком-то приятно будет видеть, когда детишек станут поднимать на штыки, и я понял, что теперь взяла свое стойкая устная традиция воспоминаний о великом восстании. Наконец она сказала: «Ни разу в жизни не видала человека, который на самом деле был на войне, а потом любил бы о войне говорить. Они скорее воду в решете носить возьмутся». Когда она была девочкой, они всей семьей, и соседи тоже, сидели по вечерам у огня и говорили о том, что скоро, по всему видать, будет война, и вот теперь опять по всем приметам война не за горами, потому как «бухта вся вдруг заросла, не вода, а сплошь одна трава». Я ее спросил — а во времена фениев⁶³ она так же боялась войны? Она всплеснула в ответ руками: «Да нет, что вы, я больше никогда и не жила так весело, как в те времена. У нас в доме квартировали тогда офицеры, и я весь день бегала по улице за военным оркестром, а по ночам ходила в дальний конец сада посмотреть, как один солдат, там, на задах, в поле уже, прямо не снимая красного мундира⁶⁴, обучает фениев ружейным приемам. А ночью раз наши ребята привязали к дверному кольцу кишки от старой клячи, она недели три как сдохла; я утром пошла дверь отпирать, а они там и висят». Постепенно разговор наш перешел, как то обычно в здешних местах с подобного рода разговорами и происходит, на битву Черной Свиньи⁶⁵, каковая собеседнице моей представлялась финальной схваткой между Ирландией и Англией, мне же — Армагеддоном, после которого весь мир вернется в Перво-

⁶³ Здесь речь идет уже о восстании 1867 года, важнейшую роль в котором играла тайная организация, члены которой именовали себя фениеями в память о воинах Финна.

⁶⁴ Т. е. солдат английской армии, именно против этих самых фениев и воевавшей.

⁶⁵ В кельтской мифологии — последняя битва, некоторым образом аналог германского Рагнарёк, после которой мир уничтожен будет чудовищным черным вепрем без щетины.

зданный Хаос; а от этой приятной темы — ко всяческого рода афоризмам о войне и о возмездии. «Вы вот, к примеру, знаете, что такое проклятие Четырех Отцов? Они пронзили Младенца копьем, и было им сказано: „Прокляты будете во каждом четвертом колене вашем“, — вот оттого-то чума и всякие другие напасти в каждом четвертом колене и происходят».

1902

Королева и дурак

Человек по имени Хирн, знахарь, который живет на границе графств Клэар и Голуэй, говорил мне, что у фэйри «в каждом доме» есть «своя королева и свой дурак», и если та либо другой тебя «тронут», пиши пропало, хотя на всех прочих, обыкновенных фэйри есть своя управа. О дураке он сказал, что тот «из них из всех самый мудрый», а одет он обыкновенно «наподобие тех циркачей, которые ездили в прежние времена по всей стране». Я сам помню, как видел однажды в доме у старого мельника, совсем невдалеке от того места, где я сижу сейчас и пишу, высокого, худого, оборванного человека, сидевшего у огня, и как мне сказали: вот он, дурак; благодаря одному из своих друзей я получил достаточно полное представление о фольклорной традиции этих мест, так вот, здесь считают, что человек этот во сне ходит под землю, к фэйри; но становится ли он там и в самом деле *Amadán-na-Breena*, дураком из Форты и частью «дома», я с уверенностью сказать не могу. Одна старушка, сама побывавшая в гостях у фэйри, — мы с ней, кстати, тоже теперь знакомы, и очень близко, — как раз моему другу о нем и рассказала. Вот ее слова: «Есть среди них дураки, ну, шуты такие, и этих-то мы видим постоянно, вроде того Амадана из Баллили, они к фэйри ходят по ночам, и шутихи

есть тоже, у нас их называют Oinseach (обезьяны)». Другая старуха, родственница знахаря с границы графства Клэар, — она лечит людей и скот заговором — рассказывала так: «Я ить тоже не всякого могу лечить. Если кого королева ударила или дурак из Форта, я тут ничем помочь не могу. Знала я одну женщину, та видела раз королеву, и ничего, говорит, вылитая христианская душа, да и только. А чтобы кто когда дурака видел, я не слыхала, кроме вот одной только женщины, она шла как раз невдалеке от Форта и говорит вдруг: „За мной идет дурак из Форта“. С ней люди были, и стали они кричать, хоть никого сами и не видели, тут, я думаю, он и ушел, по крайней мере, ей от него ничего плохого не было. Она говорит, он был как большой такой сильный мужчина и голый наполовину, вот и все, что она запомнила. Я-то сама его не видела, но я ж как-никак Хирну племянница, а он тоже недаром двадцать один год пропадал». Вот еще слова жены мельника: «Они вообще-то, говорят, соседи по большей части неплохие, но от удара дурака лекарства нету: если он кого ударит, человеку тому конец. Amadán-na-Breena, вот как его тут у нас называют!» Приведу еще рассказ бедной одной старушки, живущей возле Килтартанских болот: «Это все правда, что от удара Amadán-na-Breena лекарства нет. Был тут такой старик, и у него была особенная бечевка, он всего тебя ей обмерит и тут же скажет, чем ты болен; и вообще он много чего знал. Вот он мне раз и говорит: „Какой месяц в году самый худший?“ А я ему: „Конечно май“, — говорю. „Нет, — говорит, — не май, а июнь, потому что в июне ходит Амадан и людей портит!“ Он, говорят, на вид как всякий другой человек, только он leathan (большой) и одет в рвань. Я знала мальчишку одного, его дурак напугал; подходит тот, значит, к стене, а из-за стены выглядывает на него ягненок, да у ягненка-то борода; он сразу так и понял, что это Амадан, на дворе-то июнь был. Люди его притащили сразу к тому человеку, с бечевкой который, он

на мальчишку только глянул и говорит: „Бегите за священником, и пусть над мальчиком отслужат мессу“. Они так и сделали, и что вы думаете? Он до сих пор жив, и у него семья и дети! Один человек, Риган ему фамилия, мне так говорил: „Они, этот другой народец, могут ходить вокруг тебя, прикасаться к тебе, и все такое. Но ежели Amadán-na-Vreena кого тронет, тому крышка“. И это правда, что он людей трогает чаще всего в июне. Был у меня знакомый человек, с которым такое случилось, он мне сам об этом рассказал. Я парнишку того хорошо знала: пришел, говорит, к нему как-то вечером джентльмен, он был его лендлорд и как раз незадолго до того помер. И позвал он его с собой, надо было с кем-то там драться. Пришли они на место, а там стоят два войска, и все как есть фэйри, и в чужом войске тоже был живой один человек, с ним-то ему и надо было драться. Они и принялись друг за друга, только искры из глаз полетели, и он того, другого человека, положил, и тогда войско с его стороны как крикнет все разом, а его отпустили домой. Прошло года три, и вот однажды резал он в лесу лозняк; видит, идет к нему Амадан. А в руках у Амадана был какой-то сосуд, сиявший так, что парень буквально глаз от него отвести не мог; но тут Амадан спрятал сосуд за спину и побежал к парнишке-то бегом, и сам страшный такой и огромный, что твоя гора. Парнишка повернулся и тоже — давай Бог ноги. Тогда Амадан как зашвырнет в него этим сосудом-то, сосуд разбился, и грохоту было на весь лес; я не знаю, что там было, но только парнишка с тех пор спятил. Он потом жил еще, истории всякие нам рассказывал, но только дурачок стал, как есть дурачок. Он все думал, мол, Амадану-то не по нраву пришлось, что он того человека так отмутузил, и боялся еще напасти какой-то, что-то на него такое могло вроде как найти».

А старуха из голуэйского работного дома, та самая, у которой есть свои какие-то соображения насчет коро-

левы Мэйв, сказала мне недавно: «Amadán-na-Breena, он каждые два дня меняет облик. То он идет, глянешь со стороны, ни дать ни взять молоденький парнишка, а то обернется вдруг тварью какой ужасной, и вот тогда-то берегись. Мне тут сказали не так давно, что, мол, кто-то его подстрелил, но я-то думаю — кто ж его тако-го и застрелит?»

Я знаю человека, который все пытался вызвать перед мысленным своим взором Энгуса, древнеирландского бога любви, поэзии и вдохновения, — того самого, что превратил четыре своих поцелуя в птиц, и вдруг перед ним возник ниоткуда образ человека в шутовском колпаке с бубенчиками, образ этот становился все отчетливей и ярче, а потом шут заговорил и назвался «посланцем Энгуса». Знал я и другого человека, духовидца, и в самом деле весьма одаренного, которому явился как-то раз одетый в белое дурак в волшебном саду, где на деревьях росли вместо листьев павлиньи перья, а когда дурак дотрагивался до цветов рогами шутовского своего колпака, цветы открывались и в них, внутри, были маленькие человеческие лица; в другой раз он увидел того же белого дурака у пруда, тот сидел и улыбался, а из пруда выплывали один за другим образы прекрасных женщин.

Что есть смерть, как не начало мудрости, и красоты, и силы? и что есть безумие, как не один из видов смерти? На мой взгляд, нет ничего необычного в том, что многие числят дурака с сияющим сосудом в руках — а в сосуде том колдовское некое зелье, или же мудрость, или же сон — «в каждом ихнем доме». Вполне естественно также, что «в каждом доме» должна быть королева и что о королях слышать приходится крайне редко, ибо женщины куда способнее к той мудрости, которую древние народы считали, а многие «дикие» племена и поныне считают единственной истинной мудростью на свете. Личность, основа всякого нашего

знания, безумием разбита на куски и забывается в пылу внезапного женского чувства, а потому дуракам достаться могут ненароком, а женщинам и достаются часто осколки, отблески великого некоего знания, к ко- ему здравый смысл приходит разве что в конце долго- го и мучительнейшего из путешествий. Тот человек, который видел белого шута, сказал однажды о знако- мой своей, отнюдь, кстати, не крестьянке: «Будь я спо- собен видеть так, как видит она, я бы давно уже постиг всю божескую мудрость, а ей же до ее видений просто нет дела». Мне тоже знакома одна такая женщина, и тоже не из простонародья, которая переносится по но- чам в страны неземной, чудесной совершенно красоты, и ей между тем действительно ни до чего нет дела, кро- ме дома и детей; недавно, кстати, она обратилась к зна- харю, и тот ее «вылечил» — он так и сказал. Мудрость, и красота, и сила могут, на мой взгляд, быть явлены тем, кто умирает каждый божий день, ими прожитый, но не той, не высшей смертью, о которой говорил Шек- спир. Между живыми и мертвыми идет война, и сель- ский ирландский фольклор полон сводками с линии фронта. Так, говорят, что если на картофель, или на пшеницу, или на другой какой из плодов земных не- урожай, — значит выдался изобильный год в стране фэйри, и что из снов уходит мудрость, когда в дерев- нях по весне течет сок, и что от некоторых наших снов деревья сохнут, и что в ноябре⁶⁶ можно услышать, как блеют под землей ягнята-фэйри, и что слепые глаза видят больше, чем зрячие. И поскольку душа челове- ческая никогда не перестанет верить в эти вещи или в им подобные, то, значит, кельи и пустыни никогда не

⁶⁶ В ноябре в древней Ирландии праздновали праздник Самайн, когда, согласно языческой схеме мироздания, мир земной и мир подземный становятся на некоторое время взаимопрони- цаемы. В данном случае, однако, важно и то обстоятельство, что ягнята в стране фэйри рождаются «наоборот», т. е. не весной, а осе- нью.

пребудут пустыми надолго и никогда любовники не родятся в мир, который не понял бы такого стиха:

О чем рокошет в небе гром?
Что даст тебе сухой подстрочник?
Что ж, все равно ты, ближе к ночи,
Откроешь дверь своим ключом.
Так слушай, я скажу, о чем:
Любовь, которой мы — что спицы
В руках искусной кружевницы,
И сон, где ночь в объятьях дня
Течет, по камушкам звеня,
И колокольчик мысли трезвой,
И музыка, которой грезит
Влюбленный в полночь под окном, —
Суть смерть⁶⁷.

1901

О тех, кто дружит с фэйри

Те, кто чаще прочих видится с народом фэйри и потому более других причастился их мудрости, в основном люди бедные; в народе, однако же, их принято считать обладателями некой нечеловеческой силы, такое впечатление, что, преступивши зыбкий порог мира грез, человек получает доступ к тем водам, волшебным и сладким, подле которых Малдун⁶⁸ видел старых, с вылезшими перьями, орлов — они купались в них и вновь обретали молодость и силу.

Невдалеке от Горта, возле болот, жил человек по имени Мартин Роланд, который всю свою долгую жизнь,

⁶⁷ Из «Розалинды и Елены» П. Б. Шелли (1819).

⁶⁸ Герой «Immkn Cukaigh Máile Duin» («Путешествия Малдуновой ладьи»), ирландской саги X века. Должен был посетить 31 остров во искупление нарушенного гейса, своеобразного друидического табу.

с юных лет и до самой смерти, то и дело встречал на пути своем фэйри, хотя я и не взял бы на себя смелости назвать его их другом. За несколько месяцев до смерти он мне сказал, что «они» не дают ему по ночам спать: то примутся кричать ему что-то непонятное по-ирландски, в самые уши, то играют всю ночь на волынках. Он даже попросил совета у одного из своих друзей, и тот порекомендовал ему купить себе флейту и дудеть в нее, чуть только «они» опять возьмутся за свое, — может, мол, это их и отвадит⁶⁹; он так и сделал, и каждый раз, как он брался за флейту, они и впрямь перебирались из дому подальше в поле. Он продемонстрировал мне эту самую флейту и даже подудел в нее. Звук получился громкий, и весьма, но играть он, сердяга, не умел совершенно, так что на месте фэйри с их от природы тонким музыкальным слухом я тоже оставил бы его в покое. Потом он сводил меня к останкам каминной трубы, которую он собственноручно разметал по камушкам, потому что один из «них» повадился играть на волынке, сидючи на этой самой трубе. Мы вдвоем с другом не так давно сходили к нему в гости — до нас дошел слух, что у него опять побывали «трое из этих» и предрекли ему близкую смерть. Предупредив его, они сразу же скрылись, и дети (я думаю, речь шла о детях, украденных в свое время фэйри), которые приходили обыкновенно с ними вместе и оставались в доме поиграть, тоже ушли «в другое какое-то место», потому что «им, наверно, в доме показалось уж слишком свежо»; через пару недель он и вправду умер.

Его соседи не слишком-то доверяли старческим его видениям, но в том, что ему доводилось общаться с фэйри по молодости лет, не сомневался почти никто. Вот слова его брата: «Он старенький уже; что бы там

⁶⁹ Великолепное развитие сходного сюжета см. в переведенном на русский маленьком романе Ивлина Во «Испытание Гилберта Пинфолда».

ему ни почудилось, это все у него в голове. Вот будь он чуток помоложе, тогда другое дело, конечно».

Не знаю, однако, насколько можно свидетельству этому доверять. Мартин был человек неуживчивый и с братьями явно не ладил. Соседка его сказала следующее: «Ах, бедолага! Сейчас-то ему, говорят, всякое там все больше чудится, но вот двадцать-то лет назад, он ведь в самом соку был мужчина — я про ту ночь, когда он женщин ихних видел, все худенькие, стройные, как девочки, и шли двумя цепочками, взявшись за руки. Это как раз когда они Фэллонову девчонку украли». Дочка одного из местных, по фамилии Фэллон, совсем еще маленькая, встретила женщину «с рыжими волосами, яркими, что твое серебро», эта женщина ее и увела. Другая соседка — ей, кстати, самой пришлось как-то раз «словить в ухо» от «одного из них», за то что она ходила в «их» развалины, — сказала так: «Они, я так думаю, по большей части в голове у него сидят; вчера только шла я мимо него, а он в дверях стоит, так я ему и говорю: „Что-то у меня в ушах гудит, будто ветер, и день и ночь, одно и то же“, — специально, чтобы он подумал, что и с ним такое же точно, а он мне в ответ: „А я вот слышу все время, как они поют и музыку играют, а один повадился таскать с собой маленькую такую дудочку, вот на ней-то он им как раз и играет“. Но вот что я точно знаю, так это когда он ломал ту трубу, на которой, как он говорил, сидел ихний волынщик, то он такие камни подымал, и в одиночку — а он ведь старенький совсем, — какие мне бы ни в жисть не поднять, даже когда я молодая была и сильная».

Одна моя знакомая дама прислала мне из Ольстера запись своих бесед со старухой, которая и в самом деле была с народом фэйри в отношениях чисто дружеских. За точность приведенной ниже истории я ручаюсь совершенно: женщина эта когда-то рассказывала мне ее сама, а потом моей знакомой удалось вывести ее на эту тему еще раз, и она по свежим следам

записала сюжет со всеми подробностями. Она начала с того, что пожаловалась старушке: не люблю, мол, оставаться в доме одна, боюсь фэйри и призраков, на что та ответила: «А с чего тебе-то их бояться, а, мисс? Я сама сколько раз говорила с женщиной, а она была самая настоящая фэйри или что-то навроде того, ну вот как с тобой сейчас, и ничего. Она частенько в дом дедушки твоего — нет, он матери твоей был дед — захаживала. Ну да тебе небось все про нее уже пересказали». Девушка заверила ее: да, конечно, ей рассказывали, но дело было давно, и ей бы очень хотелось послушать о женщине-фэйри еще разок. И тогда старушка стала рассказывать дальше: «Ну ладно, детка, слушай. Первый раз, как я о ней услышала, был, когда дядя твой — в смысле, матери твоей он дядя — Джозеф женился и стал для своей жены строить дом; поначалу-то он ее к отцу своему привез, ну там, у озера. Мой отец и все мы жили там же, неподалеку, и у нас от дома как раз видать было, как они там работают. Отец у меня был ткач, и станок у него в доме стоял. Размерили, значит, фундамент, камень привезли, но каменщики то ли задержались где-то, в общем, камни просто так лежали; и вот стоим мы как-то с матерью прямо возле дома, глядь, идет по склону — там как раз раскорчевали недавно — маленькая нарядная женщина, и прямо к нам. Я-то девчонка совсем была, все скакала да прыгала, а помню ее, как сейчас!» Моя знакомая попросила ее описать, как эта женщина была одета, и старуха ответила: «Значит, серая на ней была накидка, юбка зеленая кашемировая, а на голове платок черный, тогда в деревне все в платках ходили». — «А какого она была роста?» — «Ну, маленькая она была, в смысле, мы звали ее так, Маленькая Женщина, как вместо имени. А так она была повыше многих, хотя и не то чтоб прям тебе высокая. На вид ей было лет тридцать, волосы каштановые такие, с рыжиной, и лицо круглое. Ну, вылитая мисс Бетти, бабушки твоей сестра; Бетти-то ни на кого не

была похожа, ни на бабушку твою, ни на кого из ихних. И лицо у ней было кругленькое, свеженькое такое, и замуж она так и не вышла, и мужиков у нее не было никогда никаких; я помню, мы все говорили, мол, Маленькая Женщина — уж больно она была на Бетти похожая, может, она тоже была из их семьи, а потом ее украли, когда она еще до роста настоящего не доросла, вот поэтому она все время к нам и ходит, и упреждает нас, и предсказывает. Вот в тот раз она шасть прямо к матери и говорит ей: „Иди на озеро, и побыстрей“ — и вроде как приказывает. „Иди, — говорит, — на озеро и скажи там Джозефу, чтобы перенес фундамент сюда, где я тебе покажу, возле тернового куста. Если он хочет, — говорит, — чтоб в доме у него был достаток и счастье, пусть делает, как я сказала, и сию же минуту“. Они, я так думаю, фундамент расчертили на „тропе“ — в смысле, там, где фэйри ходят. Мать пошла тут же к Джозефу, место ему показала, он фундамент перенес, но не точно туда, куда сказано было; вот поэтому-то, когда дом выстроили уже, жену у него убило — лошади места не хватило развернуться с бороной промежду кустом и стеной. Маленькая Женщина очень тогда сердилась и ругалась на нас, когда в следующий раз объявилась: не сделал, говорит, как я ему велела, пусть теперь пеняет на себя». Моя знакомая спросила, откуда на сей раз пришла Маленькая Женщина и во что она была одета. «А она всегда с одной стороны и шла, через раскорчевку. Летом на ней шаль была, такая тонкая, а зимой накидка; и каждый раз, как она приходила, давала матери какой-нибудь правильный совет, чего ей не делать, чтобы удача, значит, была. У нас в семье ее никто из детей, кроме меня, не видал: а я-то, бывалоча, радовалась, как увижу, как она идет через раскорчевку, бегу к ней навстречу, возьму ее за руку или там за накидку, за полу, и матери кричу: „Ма, к нам Маленькая Женщина идет!“ А мужчины, те ее никогда не видели. Отец все хотел с ней повидаться и на мать серчал: бывало,

говорит, выдумываете, мол, черт знает что, дурь бабская. И вот как-то раз пришла она и села у камина поболтать с матерью, а я-то бочком, бочком — и в поле, к отцу, он там как раз работал. „Беги, — говорю, — быстрее, если хочешь на нее взглянуть. Она там сидит у огня, с мамой говорит“. Он за мной в дом вбегает, головой туда-сюда, злой такой, а ничего и не видит; он тогда хватить метлу, она как у него под рукой стояла, и метелкой-то этой как мне наподдаст! „Вот тебе! — говорит. — Будешь ты из отца дурака делать!“ — и пошел обратно в поле копать, он потом еще долго на меня злился. А Маленькая Женщина тут мне говорит: „Ну, что, получила за то, что водишь людей поглазеть на меня? Никто из мужчин никогда меня не видел и не увидит никогда“.

Один раз она все-таки и его самого напугала, и здорово так, хоть я и не знаю, сам-то он ее видел или нет. Он тогда в коровнике был и вдруг идет в дом, и прямо лица на нем нет. „Чтоб я, — говорит, — больше о вашей Маленькой Женщине ни слова, ни полслова не слышал, ясно? Вот, — говорит, — где она у меня теперь“. В другой раз, тоже навроде того, поехал он в Гортин лошадей продавать, и, как раз ему ехать, заходит в дом Маленькая Женщина, протягивает матери пучок травы какой-то и говорит: „Твой муж собрался в Гортин, и его на обратной дороге здорово там напугают. На, возьми, зашей ему в куртку, тогда никто ему по крайней мере вреда не причинит“. Мать траву-то взяла, а сама и думает — тьфу, чушь, мол, какая, да траву в огонь-то и брось. И, вишь ты поди ж ты, ехал отец обратно, и что-то с ним такое приключилось, он говорил, никогда в жизни так не боялся. Что там было, я не знаю, но он весь как есть расшибся. Мать потом просто места себе не находила, боялась, что Маленькая Женщина на нее рассердится, и точно, в следующий раз пришла чернее тучи. „Ты мне, — говорит, — не поверила, ты траву в огонь бросила, а я за ней, между прочим, не ближний свет моталась“. А в другой раз она пришла и сказала, что Вильям

Хирн в Америке помер, и как он помер, тоже сказала. „Сходи, — говорит, — на озеро и скажи им, что Вильям помер и что помер он легко, а перед смертью читал такой-то и такой-то стих из Библии“ — и назвала главу и стих. „Иди, — говорит, — и скажи, чтобы они этот самый стих читали, когда соберутся в следующий раз на молитву. А еще скажи, что я ему голову держала, когда он отходил“. А потом нам передали из Америки, что умер он точь-в-точь, как она сказала, и в этот самый день. И когда они собрались молиться, то главу и гимн взяли, как она сказала, и у них такое молитвенное собрание получилось, что ни до, ни после таких не бывало. Однажды стояли мы втроем, мать, она и я, и она как раз матери о чем-то толковала, предупреждала, как обычно, и вдруг, ни с того ни с сего, говорит: „Сюда идет мисс Летти во всей своей красе, а мне, пожалуй что, пора“. И с этими словами поворачивается на каблучках и начинает вдруг подниматься в воздух, все кругом, кругом и все выше и выше, словно там винтовая лестница была, только куда быстрее*. И она уходила все выше и выше, пока не стала совсем как маленькая птичка высоко в небе, и все время пела, я песенки такой красивой никогда больше в жизни не слыхала. Это и не гимн был, а стихи какие-то, да такие красивые; мы с матерью рты пораскрывали, да так и застыли, в небо глядячи, только дрожь нас пробирала. „Мам, а кто она вообще такая? — говорю. — Она ангел, или фэйри, или кто?“ А тут как раз и мисс Летти идет, это, детка, бабка твоя, только она тогда была мисс Летти и никем другим еще быть и не собиралась, а мы стоим как дуры, рты поразевали — пришлось ей все рассказать. Она нарядная такая шла, красавица писаная. А ведь она еще далеко была, и видно ее не было, когда Маленькая Жен-

* Крестьянин из-под Кули рассказывал мне, как некий дух подобным же образом поднимался на его глазах на небо. Сведенборг в своем «Духовном дневнике» говорит о «коловоращении духов», а у Блейка есть рисунок Лестницы св. Иакова в виде восходящей спирали (1924).

щина поднялась вот так вот в небо и сказала: „Сюда идет мисс Летти во всей своей красе“. Кто знает, в какую сторону она полетела, или с кем еще, кто при смерти, посидеть?

Потемну она никогда не приходила, а только днем, кроме одного только случая, на Хэллоуин⁷⁰. Мать как раз у очага возилась, готовила ужин; у нас была, помнится, утка с яблоками. И тут появляется Маленькая Женщина. „Вот, — говорит, — пришла отметить с вами Хэллоуин“. — „Ну и правильно“, — говорит моя мать, а сама думает: ужо, мол, я тебе ужином-то накормлю. Села она к очагу, посидела чуток. „А теперь, — говорит, — я тебе скажу, куда ты отнесешь мой ужин. Наверху есть комната, где стоит станок, поставь там стол и стул“. — „Если уж ты пришла к нам на праздник, почему бы тебе не сесть, как подобает, со всеми прочими за стол?“ — „Делай, как просят, и отнеси все наверх. Я буду есть там, и нигде больше“. Ну, мать положила на тарелку кусок утки, яблок и всего прочего, что было, и отнесла наверх; так мы и ели — у нас свой ужин, у нее свой. А когда мы встали из-за стола, я тут же побежала наверх, и что же я там вижу? — она, как полагается, от каждого кусочка откусила, а самой-то и след уже простыл!»

Грезы без всякой морали

Моя знакомая, та самая, что пересказала мне историю о королеве Мэйв и об ореховом посохе, зашла недавно в работный дом еще раз⁷¹. Старички все мерзли,

⁷⁰ Хэллоуин, канун Хэллоумас, дня Всех Святых, отмечается в ночь на 1 ноября, т. е. совпадает с кельтским Самайном, законным праздником фей и всяческой нечисти. Маленькой Женщине, по идее, нельзя было оставаться в христианском доме после полуночи, когда уже начнется праздник христианский.

⁷¹ См. «Они сияли яростно и ясно», а также примеч. 20.

и вид у них был жалкий донельзя, но стоило им только заговорить, и они тут же забыли про холод. На днях буквально в их работном доме помер старик, который в молодости играл в развалинах рата с фэйри в карты, и фэйри играли «на удивление честно»; другой старик видел своими глазами чудовищного черного вепря, а еще двое всерьез поссорились, выясняя, кто же все-таки был лучшим поэтом — Рафтери или Калланан. Первый горой стоял за Рафтери: «Это великий был человек, и песни его знают во всех концах света. Я помню его, хорошо помню. Голос у него был как ветер»; другой же твердил, что «ты бы в снегу босиком стоял, чтобы только Калланана дослушать, если он запоет». Потом один из стариков стал рассказывать моей знакомой сказку, и все прочие с видимым удовольствием стали слушать его, то и дело срываясь в слезливый старческий хохот. Эта сказка — я расскажу ее далее в том самом виде, в котором она была записана, — одна из тех старых как мир, кочующих из края в край историй без всякой морали, в коих жизнь предстает в первозданной своей простоте и в коих простые, задавленные тяжким трудом люди находят отдых и одну из немногих доступных им радостей. Они повествуют о тех временах, когда поступок не был омрачен неотвратимостью следствий, и если даже приключение заканчивалось смертью искателя оных — при том, конечно, условии, что он был человек хороший, — кто-нибудь непременно приходил в конце концов, чтобы ударить его прутиком и вернуть обратно к жизни; а если ты родился принцем и похож на брата своего, как две капли воды, ты мог спокойно лечь в постель с его женой, высококородной королевой, и он даже не слишком долго на тебя впоследствии дулся. Да мы и сами, будь мы столь же бедны и несчастны и привычны к тому, что каждый новый день грозит нам новой бедой, помнили бы точно так же любой счастливый сон, достаточно крепко

сбитый, чтобы сбросить с плеч своих бремя мирских страстей и горестей.

Давным-давно жил-был король, и король этот просто места себе не находил, а все потому, что не было у него сына. В конце концов он вызвал главного своего советника и сказал, мол, так-то и так-то, что мне делать. А советник ему и говорит: «Дело это несложное, если ты все будешь делать так, как я тебе скажу. Пусть кто-нибудь из твоих слуг сходит в такое-то и такое-то место и поймает там рыбу. А когда он рыбу принесет, сготовь ее и дай отведать королеве, твоей жене».

Тогда король послал слугу за рыбой, как ему и было сказано; слуга рыбу поймал, принес ее королю, король вызвал кухарку и велел ей зажарить рыбу над угольями, но только очень осторожно, так, чтобы кожа на ней не вздулась нигде и не лопнула. Но каждому ведь ясно, что если печь рыбу на углях, то хочешь не хочешь, а кожа где-нибудь да вздуется, и вот, когда на одном боку у рыбы стал вздуваться пузырь, кухарка его и придавила пальцем, чтобы кожа разошлась, а потом сунула палец в рот, чтобы остудить его, и таким вот образом сама попробовала эту рыбу. Потом рыбу снесли королеве, королева поела, а то, что осталось, выкинули на задний двор. А на заднем дворе были в это время кобыла да сука легавая, вот они-то все объедки и доели.

Года не прошло, королева рождает сына, и кухарка рождает тоже, и тоже сына; а кобыла — двух жеребят, а сука — двух кутят.

Обоих мальчиков отослали вскорости в другое какое-то место на воспитание, когда же они вернулись, оказалось, что они похожи друг на друга, как две капли воды, и ни единый человек не смог бы с виду отличить кухаркина сына от сына королевы. Королева тогда очень рассердилась. Пошла она к главному советнику и говорит: «Скажи, — говорит, — мне способ, как отличить, кто

из них мой сын, потому что я не желаю, чтобы кухаркин сын ел и пил за одним столом с моим сыном». — «Нет ничего проще, — отвечает ей главный советник, — если вы все сделаете в точности, как я вам скажу. Как увидите их обоих и что идут они к дому, выйдите сами на порог да и станьте в дверях. Они вас увидят, и собственный ваш сын вам поклонится, а кухаркин рассмеется только, и все».

Так она и сделала, и когда ее собственный сын поклонился ей, слуги пометили ему одежду, так, чтобы потом она могла его узнать. А потом, когда они сидели за обедом, она сказала Джеку — это кухаркиного сына так звали: «Пора тебе ехать отсюда куда глаза глядят, потому что ты не мой сын». Тогда ее собственный сын, которого звали, ну, скажем, Билл, сказал: «Нет, мама, не отсылайте его, разве он мне не брат?» А Джек на это и говорит: «Давно бы я и сам уехал из этого дома, когда бы знал, что он не отца моего и не матери». Билл ну его уговаривать, а тот ни в какую. Один раз, когда он еще не уехал, были они в саду у колодца, и он Биллу говорит: «Если со мной когда случится что-нибудь плохое, в этом колодце вода сверху станет кровью, а у дна станет медом».

Потом он взял одного пса из пары и одного коня из пары, тех самых, что родились от доевших королевину рыбу кобылы и суки, и — только его и видели. А мчался он на том коне так быстро, что пустись за ним вдогонку ветер, ни за что бы не догнал, а сам он наступал на пятки ветру, бежавшему впереди. Так он ехал и ехал, пока не приехал к дому одного ткача. Он попросился на ночлег, и ткач его пустил. На следующий день к вечеру он доехал до королевского дома и попросил привратника доложить о себе и спросить, не нужны ли королю слуги. «Если мне кто и нужен, — ответил ему король, — то только пастушок, чтоб он выгонял моих коров утром на пастбище, а к вечеру возвращался

с ними домой, чтобы их тут подоили». «Идет, — сказал тогда Джек, — я берусь за эту работу», и они ударили по рукам.

Коров было в стаде всего-то две дюжины, но когда Джек пригнал их на пастбище, которое ему указали, то на всем этом пастбище не увидел ни травинки зеленой, а одни только камни. Тогда Джек пошел пооглядеться, поискать вокруг травы получше и вскорости нашел хороший луг со свежей травой, а луг тот принадлежал одному великану. Он выломал кусок стены, загнал коров на этот луг, а сам залез на яблоню и стал есть яблоки. Тут приходит на луг великан. «Фи-ф-фам, — говорит он, — кажись, ирландским духом пахнет. Вижу, вижу тебя, на деревце-то, — говорит опять, — на укус тебя вроде бы многовато, а на два маловато будет, что делать мне с тобой, даже и не знаю. Вот разве что стереть в порошок, да завместо табаку в нос совать?» А Джек ему: «Если ты сильный, почему ты такой злой?» — «Ну-ка слезай лучше сам, коротышка, — говорит великан, — а не то я тебя пополам сломаю вместе с деревом». Ну, Джек и слез. «Выбирай, — говорит великан, — как станем биться. Можно загонять друг другу в сердце раскаленные ножи, а можно поджечь торфяник и драться в огне». — «Вот когда торф горит, — отвечает ему Джек, — это у нас дома любят». А сам думает: твои-то, мол, грязные лапы по колено провалятся, а мои только пружинить будут. Короче говоря, стали они биться. Где была земля твердая, стала мягкая, где мягкая была, так утоптали, что аж ключи из-под земли повыгнали. Бились они целый день, и ни один не мог другого одолеть, а ближе к вечеру прилетела птичка маленькая, села на куст и чирикнула Джеку человеческим голосом: «Если ты не убьешь его до захода солнца, он тебя убьет». Тут Джек собрал все свои силы и как даст великану, тот на колени и упал. «Пощади меня, — говорит, — я тебе отдам лучшее, что у меня есть». — «А что у тебя есть?» — «Меч, против которого

ничто не может устоять». — «А где он у тебя?» — «Видишь вон там, в холме, маленькую красную дверцу? там и есть». Джек пошел туда и достал меч. «А на чем бы, — говорит он, — мне мой меч попробовать?» — «А вон стоит корявый черный пень, на нем и попробуй». — «А я, — говорит Джек, — ничего корявей и черней твоей башки вокруг не вижу». И с этими словами отсек великану голову одним ударом. Голова взлетела вверх, Джек поймал ее на острие и разрубил на две половины. «Повезло тебе, что ты не дал мне упасть на прежнее место, — говорит ему голова, — а не то лишился б головы ты сам». А Джек ей в ответ: «Ну, теперь-то уж не выйдет».

Пригнал он коров домой, и молока они дали — всем на удивленье. Сел вечером король с принцессой и со всеми прочими ужинать и говорит: «Сдается мне, сегодня вечером гремят в горах два грома вместо трех».

На следующее утро Джек опять выгнал коров пастись и нашел еще один луг, лучше прежнего. Он сломал стену и загнал на этот луг свое стадо. И все было так же, как вчера, только великан пришел на сей раз о двух головах — и птичка опять прилетела и то же самое прощбетала Джеку. Наконец и этот великан упал на колени и сказал: «Пощади меня, и я отдам тебе лучшее, что у меня есть». — «А что у тебя есть?» — спрашивает Джек. «Рубаха-невидимка. Коли ты ее наденешь, никто тебя не увидит, а ты будешь видеть всех». — «А где она у тебя?» — «Видишь вон, в холме, маленькая красная дверца? там и есть». Джек пошел туда и рубаху достал. А потом срубил великану обе головы и не дал им упасть, разрубивши их в воздухе на все четыре половины. И они сказали тоже, что ему, мол, повезло, раз не упали они на прежнее место.

В этот вечер коровы дали столько молока, что вся посуда, какая только в доме у короля нашлась, полна была до краев.

На следующее утро Джек снова выгнал коров пастись, и все случилось, как и прежде, только голов у великана было четыре, и Джек разрубил их на восемь половинок. Этот великан указал ему в склоне холма синюю дверцу, за которой Джек нашел башмаки-скороходы, в которых он бегать мог быстрее ветра.

В тот вечер коровы дали столько молока, что никакой посуды в королевском доме на него не хватило, и молоком поили всех арендаторов и нищих, которые шли мимо по дороге, а остаток так и пришлось выливать из окон вон. И я по той дороге шел, и мне досталось досыта.

Вечером король у Джека спрашивает: «Почему, — говорит, — у коров эти дни столько молока? Ты их что, на чужие луга гоняешь?» — «Никак нет, — отвечает ему Джек, — все дело в доброй палке. Чуть они только станут или лягут, я пускаю в ход палку, вот они у меня и скачут целый день через стены, да через камни, да через канавы; оттого-то и прибавилось у них молока».

А позже, за ужином, король и говорит: «Никак сегодня ночью и вовсе грома в горах не слышать?»

На следующее утро король с принцессой специально встали пораньше и подошли к окнам, чтобы поглядеть, что Джек станет делать, когда дойдет до пастбища. А Джек так и знал, что они станут за ним подглядывать. Он срезал по дороге палку и ну охаживать ею коров, да так, что те и впрямь запрыгали через камни, стены да канавы — чистые козы, ни дать ни взять. «Видать, и вправду Джек не врал», — сказал тогда король.

А нужно еще сказать, что жил тогда в тех местах огромный змей, который выползал каждые семь лет из моря и требовал себе на съедение королевскую дочь, если, конечно, не находилось в округе доброго какого бойца, чтобы загнать его обратно. И вот на этот самый год черед идти на съедение змею был принцессе

из королевства, где работал Джек. А потому король вот уже семь лет откармливал у себя в подвале громилу, чтобы тот бился за дочку со змеем, и вы можете быть уверены, громила этот получал все семь лет все, чего только душе его было угодно, и по первому же слову.

Вот пришел наконец самый тот день. Принцесса пошла на берег, и громила с ней вместе; а когда они дошли до нужного места, как вы думаете, что он сделал? Привязал принцессу к дереву так, чтобы змею не пришлось за ней долго по берегу ползать, а сам нашел другое дерево, заросшее сплошь плющом, да в нем и схоронился. А Джек обо всем об этом знал — принцесса-то ему еще прежде все рассказала и даже спросила его, не поможет ли он ей, и он, конечно, ответил, что помогать ей не станет. Но он отправился за ними следом, перепоясавшись прежде мечом, который ему достался от первого великана, и, когда он дошел до места, принцесса его не узнала. «А что, — спросил ее Джек, — у вас тут всех принцесс принято к деревьям привязывать?» — «Да нет, конечно», — отвечает ему принцесса; и рассказала ему все, как есть, про змея и так далее. «Давай-ка я положу голову к тебе на колени, — говорит ей Джек, — и поплюю пока. А как змей из моря выползет, так ты меня разбуди». Так он и сделал. А когда из моря выполз змей и принцесса его разбудила, он встал, вынул меч и загнал змея обратно в море. Потом перерезал веревку, которой принцесса привязана была к дереву, — и был таков. Тогда громила выбрался из своего укрытия, привел принцессу обратно к королю и сказал: «Я, видать, слишком долго в темноте сидел, вышел на свет и как-то мне не по себе стало. Вот я и попросил одного моего приятеля со змееюкой этим сегодня за меня подражаться. Ну а завтра-то я уж и сам за дело возьмусь».

На следующий день они опять пошли к морю, и вышло все совсем как вчера; громила привязал принцессу

к дереву, да так, чтоб змею за ней и нагибаться не пришлось, а сам схоронился в зарослях. Джек между тем надел рубаху-невидимку, которую получил от второго великана, и пошел за ними следом. Принцесса опять его не узнала и рассказала ему все, что случилось вчера и как один незнакомый благородный юноша пришел и спас ее. Джек ее и спрашивает, нельзя ли, мол, и ему положить к ней голову на колени и вздремнуть, пока не явится змей. И все было так же, как вчера. И снова громила отвел принцессу к королю и сказал, что сегодня-де он попросил драться со змеем еще одного из своих друзей.

На третий день, когда громила привел ее на берег, там собралась уже уйма народу, чтобы взглянуть на змея и на то, как он станет есть королевскую дочь. Принцесса и Джек опять поговорили, но, когда он уснул, она вынула ножницы и срезала у него прядь волос, чтобы узнать потом наверняка, кто же это спас ей жизнь. Волосы она завернула в тряпочку и спрятала. А еще она сняла у него с ноги один башмак.

Увидев, что из моря выползает змей, она его разбудила, и он сказал: «На этот раз я эту гадину так отделаю, что больше ей королевских дочек есть не захочется». С этими словами он вынул из ножен великанов меч и вонзил его змею сзади в хобот, под самый затылок. Тут хлынула из змея вода пополам с кровью, да так, что ручей убежал от моря аж на пятьдесят миль. А змей-то, конечно, сдох. А Джек-то опять улизнул, и никто не заметил — куда. Громила же привел принцессу назад к королю и стал там похваляться, что будто бы это он убил змея и спас принцессу, и вообще какой он герой, и лучшего бы мужа принцессе и не сыскать.

Стали было готовить свадьбу, но тут принцесса достала прядь волос и сказала, что выйдет замуж за того, и только за того, кому эти волосы подойдут, а потом

достала еще и башмак и сказала, что замуж выйдет только за того, кому и башмак подойдет тоже. Громила попытался было башмак натянуть, да только он ему и на большой палец не налез, да и волосы у него ни капли не были похожи на волосы человека, который принцессу спас.

Тогда король закатил роскошный бал и созвал на него всех знатных людей со всего королевства, чтобы выяснить, кому же из них башмак придется впору. Они все забегались по столярам да по плотникам и платили большие деньги за то, чтобы те им ноги пообтекали получше, да только все зря, потому что никто из них башмака надеть так и не смог.

Тогда король пошел к главному своему советнику и спросил, что ему делать теперь. А главный советник велел ему дать еще один бал и сказал: «Пригласи на сей раз не только богатых, но и бедных тоже».

Король устроил бал, и народу в дом набилось — яблоку негде упасть, но башмак так никому и не подошел. Тогда советник спрашивает у короля: «А что, все здесь собрались твоего величества подданные?» — «Да, — отвечает король, — все как есть, кроме того паренька, который пасет наше стадо. Уж больно мне не хотелось видеть у себя на балу его чумазую рожу».

Джек как раз об эту пору проходил под окнами и услышал, что про него сказал король. Он так разозлился, что бросился в свою каморку, схватил великанов меч и побежал вверх по лестнице, чтобы срубить королю голову с плеч долой. Слава богу, что на лестнице ему попались привратники, стоявшие обыкновенно у ворот, они его немного успокоили, а когда он зашел в зал, его увидела принцесса и сразу бросилась к нему на шею. Принесли башмак, и он пришелся Джеку в самую пору, принесли прядь волос, и она как раз легла на прежнее место. Ну, в общем, они поженились, и король по такому случаю закатил веселье на три дня и на три ночи.

Чуть прошло трое суток, прибегает утром под окна олень, и на рогах у него бубенчики и звенят себе звонко. И говорит человеческим голосом: «Охота вот она, а где ж охотник да собаки?» Джек, услышав такие слова, встал, оседлал своего коня, свистнул пса и поехал за оленем следом. Он в долину — олень на холм, он на холм — а олень опять уже в долине, и так они скакали целый день до вечера, а когда спустилась ночь, олень нырнул в дремучий лес. Джек тоже въехал за ним в этот лес и видит: стоит в лесу землянка — он туда и вошел. А в землянке той жила старуха, и от роду ей было на вид лет двести, и сидела она у огня. «Мать, не пробегал мимо тебя олень?» — спросил ее Джек. «Оленя я никакого не видала, — говорит ему в ответ старуха, — да и поздно уже за оленями-то по лесу гоняться, а оставайся-ка ты лучше у меня ночевать». — «А куда мне девать коня да пса?» — «Вот, — говорит старуха, — на тебе два волосяных снурка, привяжи обоих к дереву». Джек вышел и привязал коня и пса, а когда он вернулся, старуха ему и говорит: «Ты убил троих моих сынков, а таперича и я тебя убью». С этими словами надела она пару боксерских перчаток, каждая весом по девять стоунов, а еще они утыканы были сплошь гвоздями длиной по пятнадцать дюймов⁷². Стали они драться, и Джеку пришлось куда как туго. «Пес, помоги!» — крикнул он. А старуха на это: «Волосок, дави!» И тот снурок, которым Джек привязал пса, задушил пса насмерть. «Конь, помоги!» — кричит Джек. А старуха опять: «Волосок, дави!» И тот снурок, которым Джек привязал коня, задушил коня насмерть. Тогда старуха Джека убила совсем и выбросила его за дверь.

А теперь вернемся к Биллу. Вышел он как-то утром в сад, заглянул в колодец, и что же он там, по-вашему,

⁷² По девять стоунов — т. е. около 60 килограммов; гвоздями длиной по пятнадцать дюймов — т. е. большими строительными, по 38,1 см каждый.

увидел? Вся вода сверху стала кровью, а у самого дна — чистым медом. Тут пошел он обратно в дом и говорит матери: «Не стану я дважды есть за одним столом и дважды спать в одной постели, покуда не узнаю, что случилось с Джеком».

Взял он другого пса и другого коня и отправился в путь, по горам, по долам, где петел не пел, где рожок не дунул, там, где сам Дьявол в свой рог не трубил. Долго ли, коротко ли, доехал он до домика ткача, и ткач прямо с порога говорит ему: «А, это ты, заходи, заходи, уж сегодня-то у меня есть чем тебя угостить, не то что в прошлый раз», — он, видите ли, принял его за Джека, вы же помните, что они похожи были как две капли воды. «Ага, — думал Билл, — вот и славно. Значит, Джек-то здесь был». И наутро, перед тем как ехать дальше, отсыпал ткачу полную миску золота.

Так он ехал и ехал, пока не добрался до королевских покоев. А тут ему навстречу вниз по лестнице бежит принцесса и говорит: «Милый, наконец-то ты вернулся». А люди стоят кругом и тоже говорят все: «Зачем это вы, молодой господин, уехали на охоту через три дня после свадьбы и не возвращались так долго?» Ну, он и остался с принцессой-то на ночь, и она все это время думала, что он ее настоящий муж.

А наутро прибежал под окна олень с бубенчиками на рогах и говорит человеческим голосом: «Охота вот она, а где ж охотник да собаки?» Билл, конечно, встал, сел на коня, свистнул собаку и поскакал за оленем по горам, по долам, пока не добрался до дремучего леса, а в лесу он увидал землянку, а в землянке той — старуху, и старуха попросила его остаться на ночь и дала ему два волосяных снурка, чтобы он привязал коня да пса. Но Билл-то был поумнее Джека, а потому перед тем, как выйти, бросил потихонечку снурки в огонь, А когда он опять вошел в землянку, старуха ему и говорит: «Брат твой убил троих моих сынков, а я за это

и его убила, и тебя сейчас убью». Надела она свои перчатки, и стали они биться, и Билл вскорости крикнул: «Конь, помоги!» А старуха: «Волосок, дави!» — «Не могу, — отвечает ей снурок, — давить, не стану, потому что я в огне». Конь вбежал да как даст ей копытом. «Пес, помоги!» — зовет Билл. А старуха: «Волосок, дави!» — «Не могу, — отвечает ей второй снурок, — я в огне». Тут пес вбежал и ну ее кусать, а Билл сшиб ее наземь — она и взмолилась. «Не губи меня, — говорит, — я научу тебя, как оживить обратно и брата твоего, и пса его, и коня». — «Ну, говори, старая!» — «Видишь, — говорит она, — над очагом висит прутик? Сними его, выйди за дверь и увидишь там три нефритовых камня. Ударь каждый прутиком, они и оживут, а это и есть брат твой, конь его и пес». — «Так я и сделаю, — говорит ей Билл, — вот только сделаю сперва и из тебя такой же точно камень» — и с этими словами отсек ей голову прочь.

Потом он вышел за порог, отыскал три нефритовых камня, ударил каждый прутиком, и явились перед ним Джек, его конь и пес, живые и здоровые. И стали они нахлестывать прутиком по всем камням, что лежали там рядом, а это все были заколдованные старухой люди, сотни и тысячи, и все они ожили.

А потом отправились они домой, но на обратной дороге вышел у них то ли спор, то ли еще какая дискуссия, потому что Джеку не шибко-то понравилось, что брат его переспал с собственной его женой, а Билл на это осерчал и стеганул Джека прутиком, и тот опять превратился в нефритовый камень. И поехал себе дальше домой, но принцесса-то сразу почуяла, что что-то здесь неладно, и тогда он ей сказал: «А я ведь убил брата своего». Сказал, поехал обратно и опять воскресил Джека к жизни, и стали они все жить-поживать, и добра наживать, и детей нарожали три дюжины, не знаю, на кой столько нужно им. Я сам там был во субботу, не далее, и меня, старого, в дом позвали и чашку чаю налили.

У обочины дороги

Вчера вечером я отправился на лужайку возле Килтартанской дороги послушать ирландские песни. Пока я ждал певцов, какой-то старик спел балладу о красавице⁷³, умершей неподалеку много лет тому назад, а после принялся рассказывать о певце, которого он сам когда-то знал. Тот пел так красиво, что даже лошади, проходя мимо, поворачивали головы и ставили уши торчком, чтобы его послушать. Вскоре вокруг него собрались под деревьями десятка два мужчин, парней и девушек в накинутых на голову шалях. Кто-то затянул «*Sa Muirnin Dilis*»⁷⁴, а потом кто-то еще — «*Jimmi Mo Milestór*», печальные песни о разлуке, об изгнании и смерти. Потом мужчины стали плясать, а все прочие затаили им в такт живой и ритмичный мотив, а следом запели «*Eibhlin a Rúin*»⁷⁵, светлую песню о долгожданном свидании: она всегда трогала меня более всех прочих, потому что человек, сложивший ее когда-то, пел ее возлюбленной своей в тени той самой горы, которую я лицезрел в детстве каждый божий день. Голоса таяли в серых вечерних сумерках, терялись постепенно меж стволов, а стоило мне поймать знакомую пару слов, знакомую строчку⁷⁶, и они тоже таяли, теряясь постепенно в чередѣ людских поколений. Случайная фраза, случайный оттенок голоса, случайная нота вели меня к стихам куда более древним, едва ли не к забытым ныне мифам. Меня унесло в несусветную даль, и я уже плыл, отдавшись течению, по водам широкой

⁷³ «*An Rosaidh Gledeal*» («Сияющий Цветок») — песня Рафтери, посвященная Мэри Хайнс.

⁷⁴ Известная любовная песня.

⁷⁵ Знаменитая народная песня, приписываемая обыкновенно Кэрролу О'Дэйли (1597–1630) из графства Уэксфорд и сложенная им якобы в честь Элинора, дочери сэра Марроу Кэвенаха.

⁷⁶ Познания Йейтса в гэльском, как и вообще в любом языке, кроме английского, были более чем скромными.

реки, одной из четырех великих, и она несла меня вдоль ограды Рая туда, где уходят в землю корни Древа Познания и Древа Жизни. Нет ни истории, ни песни — ни единой из тех, что ходят здесь от дома к дому, — в которой не было бы слов, способных вынести тебя в эти дали. Пусть даже сам их язык знаком тебе лишь отчасти, ты ведь не можешь не знать, что они, подобно средневековым генеалогиям, уходят, счет ведя по благородным именам, через могучий общий ствол — к началам мироздания. Народное искусство есть, по общему счету, древнейшая из всех аристократий духа, и, поскольку оно отвергает все преходящее и тривиальное, все сделанное напоказ — «для красоты» или умничанья для, — отвергает так же уверенно и просто, как всякую неискренность и пошлость, поскольку оно сосредоточило в себе извечную, столетиями отточенную мудрость, оно и есть та единственная почва, в которую уходят корни всякого великого искусства. В какой бы форме оно ни бытовало — в истории, рассказанной вечером у очага, в песне, спетой на лужайке у обочины дороги, в резном ли наличнике на крестьянском окне, — стоит только прийти человеку, способному настроиться на нужную волну, поймать нужный ритм и правильно выбрать точку отсчета — и ветви брызнут зеленью из-под сухой земли в изобилии удивительном и пышном.

В обществе, изгнавшем живую традицию воображения вон, лишь немногие из немногих — три, может быть, четыре тысячи человек из многих миллионов — вследствие ли собственной природной одаренности или счастливого стечения обстоятельств, и даже в этом случае только в результате долгого и кропотливого труда, обладают пониманием значимости сего бездонного источника вдохновения; а ведь все ж таки и у нас лишь вдохновеньем поверяют человека. Церковь в Средние века потому только и привлекла на свою сторону

все виды искусств, что люди в те дни понимали: стоит вдохновенно обеднеть, и даже главный голос в хоре — иные сказали бы, единственный правильный голос, — способный разбудить в человеке надежду, но мудрую надежду, и веру, но веру глубокую, и милосердие, и желание понять, станет говорить словами немощными, если и не замолчит совсем. Вот и мне всегда казалось, что мы, кто будит древнюю традицию народного воображения, — оживляя ли старые песни, собирая ли из старых сказок книги, имеем долю свою в древней ссоре, происшедшей как-то в земле Галилейской. И те ирландцы, что ходят чужими дорогами, из коих большинство суть дороги бедности духовной, тоже имеют в ней свою долю. Их доля среди тех, кто был еврей и судия еврейский и все ж таки кричал: «Если отпустишь человека сего, ты кесарю не друг»⁷⁷.

1901

В сумерки⁷⁸

Дряхлое сердце мое, очнись,
Врвись из плена дряхлых дней!
В сумерках серых печаль развей,
В росы рассветные окунись.

Твоя мать, Эйре, всегда молода,
Сумерки зыбки, и росы чисты,
Хоть любовь твою жгут языки клеветы
И надежда сгинула навсегда.

Сердце, уйдем к лесистым холмам,
Туда, где тайное братство луны,

⁷⁷ См. Ин. 19: 12.

⁷⁸ Перевод Г. Кружкова.

Солнца, и неба, и крутизны
Волю свою завещают нам.

И Господь трубит на пустынной горе,
И вечен полет времен и планет,
И любви нежнее — сумерек свет,
И дороже надежды — роса на заре.

*Истории
о Рыжем Ханрахане*

Рыжий Ханрахан

Ханрахан, учитель огородной школы⁷⁹, мужчина высокий, сильный и огненно-рыжий, вошел в амбар, где сидели в Самайнский сочельник⁸⁰ деревенские мужчины. Амбар этот был когда-то жилым домом, но потом его хозяин выстроил себе другой дом, лучше прежнего, а в старом снес перегородку, сделав из двух комнат одну, и стал держать там всякий нужный и ненужный хлам. В старом камине разожгли огонь, в бутылках горели маканые свечи, а на досках, положенных на два бочонка так, что получилось подобие стола, стояла черная, в кварту, бутылка виски. Мужчины сидели по большей части у огня, и один из них пел длинную путаную песню об одном человеке из Мунстера, и еще об одном, из Коннахта, и как они поссорились из-за того, чья провинция будет лучше. Ханрахан подошел к хозяину дома и сказал: «Мне передали твои слова»;

⁷⁹ Школы под открытым небом для крестьянских детей, находившиеся на содержании у деревенской общины. Существовали отчасти в противовес официальной системе образования, во-первых, недоступной для большинства населения Ирландии по соображениям чисто финансового порядка, а во-вторых, подконтрольных «сассенахской» администрации, то есть по сути своей протестантских. Являлись одной из немногих форм сохранения традиционной, в том числе и не только католической, ирландской культуры.

⁸⁰ См. примеч. 70.

но, сказавши так, запнулся, потому что старик, сидевший одиноко у двери и одетый в рубаху и порты из суровой небеленой фланели, судя по виду — горец, смотрел на него не отрываясь и что-то бормотал, тасуя в руках засаленную колоду карт. «Не обращай внимания, — сказал хозяин дома, — просто бродяга какой-то, зашел сюда не так давно, ну, мы и пригласили его остаться: Самайн ведь все-таки, но знаешь, сдается мне, что он немного того. Ты только послушай, что он там говорит». Они прислушались оба и услышали, как старик бормочет себе под нос, тасуя карты: «Пики и Бубны, Смелость и Власть; Трефы и Червы, Знание и Радость»⁸¹.

«Вот так он и талдычит одно и то же, наверное, с час уже», — сказал хозяин дома, и Ханрахан отвел от старика взгляд, так, словно ему было неприятно на него смотреть.

— Мне передали твои слова, — снова сказал Ханрахан. — Он в амбаре, и с ним три его двоюродных брата из Килкроста, так сказал твой человек, и еще там с ним соседи.

— Мой двоюродный брат хотел поговорить с тобой, — сказал хозяин дома и обратился к молодому парню в грубой ворсистой куртке, сидевшему у огня и слушавшему песню: — Вот тот самый Рыжий Ханрахан, для которого у тебя известие.

— Это добрые вести, воистину, — сказал парень, — потому что я принес их тебе от твоей зазнобы, от Мэри Лавелл.

— А как они к тебе попали и откуда ты вообще ее знаешь?

⁸¹ В английском языке названия карточных мастей достаточно прямо соотнесены с мастями Таро, имевшими в данном случае для Йейтса вполне конкретный, хоть и многоаспектный смысл. Впрочем, данные смысловые параллели в принципе могут читаться и на бытовом, «цыганском», «гадательном» уровне.

— А я ее и не знаю вовсе, просто я был вчера в Лохри, и один ее сосед, с которым я торговался, сказал, что она просила передать тебе пару слов, если на ярмарке окажется по случаю кто из этих мест, а новость такая, что мать ее померла недавно и, если ты еще не передумал к ней переселиться, она, мол, давала тебе свое слово и она его сдержит.

— Так я и сделаю, — сказал Ханрахан.

— И еще она просила тебя поторопиться, потому как если пройдет месяц, а мужчины у нее в доме так и не будет, так там есть участок земли, и его тогда отдадут другим людям.

Когда Ханрахан услышал эти его слова, он тут же встал со скамьи, на которую только-только было сел. «Я, пожалуй что, и впрямь потороплюсь, — сказал он, — луна стоит полная, и если я к утру доберусь до Килкреста, то назавтра до захода солнца точно уж буду у нее».

Когда все прочие услышали эти его слова, они над ним стали смеяться, что вот он, мол, как спешит к своей ненаглядной, а один его спросил, как же он так возьмет да оставит свою школу в старой печи для обжига извести и кто ж, кроме него, станет обучать так славно деревенских ребят. Он же ответил, что ребята будут только рады, когда придут завтра утром, и никого там не застанут, и некому будет их мучить; а что до него, то где он, там и школа, чернильница-де у него на шее подвешена на цепочке, а Вергилий с задачником — в карманах куртки.

Несколько человек пригласили его выпить на пошонок, а парень поймал его за полу куртки и сказал, что, мол, нехорошо будет с его стороны уйти вот так, не спев им ту самую песню, которую он сложил во славу Венеры и Мэри Лавелл. Ханрахан выпил стакан виски, но, выпив, сказал, что задерживаться он не будет, а отправится прямо сейчас в путь.

— Куда тебе спешить, Рыжий Ханрахан? — сказал ему хозяин дома. — Вот женишься, тогда уже не до гулянок будет, а мы тебя, поди, не скоро таперича увидим.

— И не останавливай меня, — сказал ему на это Ханрахан, — душа моя вся уже в дороге, и тянет меня к той женщине, которая за мной послала, и зудит, как ей там одиноко и как она меня ждет.

К нему подошли еще другие и принялись его упрасивать, такой он, мол, славный был им приятель, и столько знал и песен, и шуток, и прибауток всяких, и неужто он их теперь так вот запросто оставит. Он же отказал им всем, стряхнул с себя их руки и пошел к двери. Но едва он только ступил на порог, встал с места своего давешний чудной старик, положил ему на руку свою ладонь, сморщенную и высохшую скрозь, ни дать ни взять птичья лапка, и сказал: «Да нет, Рыжий Ханрахан — он ученый человек и великий песенник к тому же; ясное дело, он не уйдет от такой компании, да еще в самайнский вечер. Давай-ка, — сказал он, — ты останься и сыграй со мной разок в карты; эта вот колода столько повидала на своем веку, и такая уж она старая, что, почитай, все богатства мира выиграли через нее и проиграли».

Тут один из парней сказал, глядя на его босые ноги: «Не много же из тех богатств при тебе задержалось, отец», и все они засмеялись. Но Ханрахан смеяться не стал, а сел тут же на скамью, не сказавши ни слова. Тогда один из них сказал: «Так, значит, ты с нами все-таки останешься, а, Ханрахан?» — а старик ему на это: «Конечно останется, ты ведь слышал, что я его об этом попросил?»

Они все глянули на старика эдак странно, словно бы дивясь, откуда он такой взялся. «А взялся я издалека, — сказал старик, — и через Францию я шел, и через Испанию, а еще по-над Лох-Грейне, где разные ходы

есть и выходы, и никто еще ни в чем мне не отказывал». И тут они все замолчали, и пропала у них охота задавать вопросы, и стали они играть.

Шестеро сели у досок, а остальные стояли за их спинами и смотрели. Два-три роббера они сыграли на так, а потом старик достал из кармана монетку в четыре пенни, да такую уж стертую, что только вот не прозрачную, и всех остальных пригласил ставить на кон. Все поставили, и как ни мало денег оказалось поначалу на досках, когда начали они с удачею вместе переходить от одного к другому, сумма всякий раз и выигравшему, и проигравшему казалась стоящей. И бывало так, что счастье отворачивалось от игрока и у него не оставалось при себе ни пенни, но тогда кто-нибудь ему одалживал немного денег, и он потом свой долг из выигрыша возвращал, и ни разу не вышло так, чтобы кому-то подолгу везло или же, напротив, не везло.

Один раз Ханрахан сказал было смутно, как если бы во сне: «Надо бы мне уже и в дорогу», но тут ему пришла хорошая карта, он ее разыграл, и ему вдруг стало везти раз от раза все больше. А еще немного позже Ханрахан подумал про себя о Мэри Лавелл и вздохнул; но тут удача от него отвернулась, и он опять про нее забыл.

Но вот фортуна перешла наконец к старику и оставалась с ним, покуда все деньги, которые у них были, не ушли к нему, и старик стал странно так посмеиваться и пел все чаще под нос себе свои «Пики и Бубны, Смелость и Власть» и так далее, как если бы то был куплет из песни.

И если бы кто взглянул теперь на них на всех со стороны, на то, как смотрят они старику на руки, когда тот сдает карты, и как раскачиваются из стороны в сторону их тела, он подумал бы непременно, что не иначе они крепко выпили или же поставили на кон

все, что было у них за душой на этом свете; но дело было вовсе не так: квартовая виски, которую начали они как раз перед игрой, так и стояла себе на столе, чуть початая, и денег было на кону — с полдюжины шиллингов и шестипенсовиков да пригоршня меди в придачу.

«Вы хорошо выигрываете, и вы проигрываете хорошо, — сказал им старик, — и в игре вы всей душой». Он стал тасовать колоду так и сяк, да столь быстро, что в конце концов карт не стало видно, а появились у них перед глазами как будто бы огненные круги, как если мальчишки вынут из костра горящие хворостинки и примутся писать ими в воздухе вензеля; а после им почудилось, что в комнате стало совсем темно, и они больше не видели ничего, кроме рук его и карт.

И в ту же секунду промежду рук у старика прыгнул откуда ни возьмись заяц, и никто так и не понял, одна ли из карт превратилась вдруг в зайца, или же он получился как-то сам собой, из ничего, но заяц был и носился по полу в амбаре так быстро, как только могут бегать зайцы.

Одни принялись следить за ним, но большинство смотрели, не отрываясь, на старика, и, пока они смотрели, промежду рук у того проскочила борзая, а потом еще одна, и еще, покуда не очутилась в амбаре целая стая борзых, гоняющих по полу зайца.

Игроки теперь повскакивали все на ноги, спинами к столу, и уворачивались, как могли, от борзых, едва не оглохнув от лая. Борзые были что надо, но зайца взять никак не могли, пока наконец как будто бы порыв ветра не распахнул настежь дверь; заяц подобрался весь, прыгнул через доски, на которых играли, и выскочил во тьму через порог, а следом за ним той же самой дорогой, через доски и в дверь, повыскакивали и собаки.

Тогда старик крикнул во весь голос: «Ату его, айда за псами, айда за псами, сегодня будет славная охота!» — и тоже выбежал из двери вон. Однако же, хоть все они

и были заядлые охотники, никто за ним следом не поспешил, один только Ханрахан поднялся с места и сказал:

— Я пойду, я-то, пожалуй, пойду.

— Лучше бы тебе остаться с нами, Ханрахан, — сказал ему на это молодой парнишка, стоявший к нему ближе всех, — ох и крепко ты можешь влипнуть с этим стариком.

Но Ханрахан сказал:

— Пусть игра будет честной, пусть игра будет честной, — и, спотыкаясь, будто пьяный, вышел из амбара, и, как только он вышел, дверь за ним захлопнулась сама собой.

Сперва ему показалось, что старик стоит прямо перед ним, но то была всего лишь тень, которую полная луна отбрасывала перед ним на дорогу, и тут он услышал, как псы гонят зайца где-то впереди, по широким зеленым полям Гранаха, и он побежал вперед что было сил, ибо ничто не удерживало его на месте. Сколько-то времени спустя он добежал до места, где поля стали куда меньше и обнесены были по краю стенами из не скрепленных раствором камней; Ханрахан перепрыгивал через стены, и камни сыпались вниз, но он не возвращался, чтобы положить их на место; потом он прошел то место, где река уходит под землю, неподалеку от Баллили, и услышал, как борзые гонят зайца куда-то вверх по реке. Вскорости бежать ему стало тяжело, поскольку дорога шла теперь в гору и луна ушла за тучи, так что ему едва было видно, куда он бежит; один раз он попытался было сойти с тропы и срезать через луг, но тут же нога его провалилась в болотную вымоину, и пришлось ему вернуться на тропу назад. И сколько времени он так бежал и в какую сторону несли его ноги, он и понятия уже не имел, но в конце концов он очутился на голой горной вершине, сплошь поросшей вереском, и охоты не было слышно нигде, и вообще ничего ему не было слышно.

Но вот опять донесся до него собачий лай, сперва издалека, потом куда как ближе, и, когда собаки стали лаять совсем уже рядом, оказалось вдруг, что лают они откуда-то сверху, и в ту же минуту охота пронеслась, невидимая, у него над головой; потом она ушла на север, затихла, и больше он ничего уже не слышал. «Это нечестно, — сказал тогда Ханрахан, — это нечестно». Идти он больше не мог и сел, где стоял, прямо в вереск, в самом сердце Слив-Ахтга, потому что долгая дорога отняла у его тела все силы, до последней капли.

Немного погодя он вдруг заметил, что рядом с ним какая-то дверь, и дверь открыта, и оттуда льется свет, и он удивился, как это так: дверь была от него буквально в двух шагах, а он ее не заметил. Как ни было это ему тяжело, он встал и вошел в эту дверь, и, хоть снаружи стояла ночь, внутри, за дверью, был ясный день. Тут же на глаза ему попался и старик, он собирал в лукошко летние травы: тимьян и зверобой, — и такой от них шел дух, как будто все запахи лета смешались воедино. И старик сказал: «Долгонько же ты шел к нам, Ханрахан, ученый человек и великий песенник».

И с этими словами он провел его в огромный светлый дом, где каждая прекрасная или же чудесная вещь, о которой слышал когда-либо Ханрахан, и всякий мыслимый и немислимый цвет нашли свое место. В глубине дома устроен был помост, и на помосте сидела в кресле с высокой спинкой женщина, самая красивая на свете женщина, какую Ханрахан в жизни видел; лицо у нее было удлиненное и бледное, на голове венки из множества цветов, а вид усталый, как будто бы она долго-долго чего-то ждала. А на приступочке подле помоста сидели четыре седые старухи, одетые во все серое, и одна держала на коленях большой такой котел; другая — огромный серый камень, такой уж большой и тяжелый, но она его держала легко, как будто он ничего и не весил; у третьей в руках было длинное-предлинное копье, без наконечника, но заточенное остро

на конце; четвертая же старуха в руке держала обнаженный меч⁸².

Ханрахан долго стоял и смотрел на них, но ни одна из них не сказала ему ни слова, даже не глянула на него. И на языке у него так и вертелся вопрос, кто та женщина в кресле, похожая на королеву, и чего она ждет; и вроде говорить он привык когда и с кем угодно и отродясь никого не боялся, но тут вдруг нашла на него оторопь, и неудобно стало ему говорить первым с такой красивой женщиной да еще в таком знатном месте. Потом он хотел было спросить, что за предметы держат в руках четыре серые старухи и почему они держат их так, словно это величайшие на свете

⁸² Четыре предмета, явленные Ханрахану в подземном чертоге, соответствуют четырем магическим предметам, привезенным древними языческими ирландскими богами, племенами богини Дану, из неких таинственных северных городов Фалиаса, Гориаса, Муриаса и Финдиаса, где племена овладевали магическим искусством. Предметы эти суть камень Фал, испускавший крик под ногами человека, коему судьба была стать законным, «правильным», королем Ирландии, копьё Ассала, не знавшее промаха (аналог скандинавского копья Гуингнир), меч Нуаду, от удара которого не было защиты, и неистощимый котел Дагда. Самой логикой построения дальнейшей ситуации испытываемый должен задать вопрос о сути происходящего, а также о назначении и свойствах предметов, но не задает его, не оживляет спящего (спящую) и сам не проходит обряда инициации — Йейтс уподобляет данные магические предметы волшебным предметам из легенды о св. Граале и, следовательно, самому Граалю. Персиваль, оказавшись в замке Монсальват, ведет себя совершенно так же, как Ханрахан. От Грааля, который представляется обыкновенно в образе чаши, неотделимы еще два магических предмета: копьё Лонгина, пронзившее некогда тело Христово и обретшее оттого способность не только разить, но также целить и питать, а также меч Давида, уготованный прошедшему инициацию рыцарю-девственнику. В романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» сам Грааль представляется в виде чудодейственного камня — так что все четыре предмета находят свои аналогии. Связь с мастями карт Таро возглашается самими старухами и открывает еще один ряд почти бесконечных символических отсылок.

сокровища, но он никак не мог найти подходящих для этого слов.

Тогда встала наконец с приступочки первая старуха, подняла перед собой на вытянутых руках свой котел и сказала: «Радость», а Ханрахан смолчал. Следом встала вторая старуха, с камнем в руках, и она сказала: «Власть»; и третья встала с копьем и сказала: «Смелость»; и четвертая встала с мечом и сказала: «Знание». И каждая, сказавши свое слово, подождала немного, как будто для того, чтоб Ханрахан успел задать вопрос; он, однако, так ничего и не сказал. И тогда все четыре старухи вышли в дверь, унося с собой свои сокровища, и на самом на пороге одна из них сказала: «Мы ему без надобности»; а другая сказала: «Как он слаб, как он слаб»; а третья: «Он испугался»; а последняя сказала: «Весь ум его куда-то делся». И потом они сказали все хором: «Ахтга, дочь Серебряной Руки⁸³, останется и дальше спать. Какая жалость, какое великое горе!»

А следом женщина, похожая на королеву, испустила вдруг вздох, да такой тоскливый, что Ханрахану почудилось — так вздыхают иногда разве что скрытые

⁸³ *Аргатлам Серебряная Рука* — прозвище Нуаду, верховного бога ирландского языческого пантеона, потерявшего руку в первой битве при Маг-Туиред, где племена богини Дану победили Фир Болг, более древних хозяев Ирландии. Диан Кехт, божественный врачеватель, изготовил для Нуаду живую руку из серебра взамен прежней, но с этого времени Нуаду не мог уже в полной мере осуществлять «королевские» полномочия, и во второй битве при Маг-Туиред, где племена богини столкнулись с фоморами, хтоническими существами, осуществлявшими «контроль» над плодородием ирландских земель и вод, ими командует уже не Нуаду, а Луг. После того как в битве при Таилтиу сыновья Милия, т. е. предки собственно человеческого кельтского населения Ирландии, окончательно победили племена богини Дану, те выговорили себе в качестве отступного за уход с «поверхности» земли власть над подземным миром, не носившим с этих пор в ирландской традиции однозначно выраженного хтонического характера.

под землей реки; и будь дворец хоть вдесятеро больше и прекрасней и сияй он стократ сильнее, и то не смог бы Ханрахан совладать со сном, который напал на него внезапно; он зашатался, как пьяный, и упал прямо там, где стоял.

Когда Ханрахан проснулся, в лицо ему светило солнце, но на траве повсюду вокруг него лежал иней и на речушке, что вилась невдалеке, той самой, что течет через Дойре-квил и через Дрим-на-род, был лед. По очертаниям холмов и переблеску Лох-Грейне вдалеке он понял, что лежит на одной из вершин Слив-Ахтга, но, как он сюда попал, он не помнил; все, что случилось в амбаре и потом, все ушло куда-то, и осталась только страшная усталость и ломота в костях.

С той поры прошел ровно год, и вот в деревне Каппахталь, в доме у дороги, сидели у огня мужчины; дорогою пришел к их дому Рыжий Ханрахан, очень худой и оборванный, и волосы отросли у него аж до плеч и были словно бы не чесаны отродясь, он попросил у них позволения войти в дом и отдохнуть немного; они пустили его с радостью, потому как был на дворе Самайнский вечер. Он сел с ними, ему налили стакан виски из квартовой бутылки; потом они увидели у него на шее маленькую чернильницу, подвешенную на цепочке, поняли, что он человек ученый, и стали просить его рассказать им что-нибудь про греков.

Ханрахан вытащил было из кармана Вергилия, но обложка у книги оказалась вся черная и вздулась пузырями от сырости, а страницы, когда он открыл книгу, оказались желтее желтого; но даже и это было не так уж важно, потому что в книгу он смотрел как человек, которого в жизни не учили ни единой букве. Там был один молодой парнишка, и парнишка этот стал смеяться над ним и говорить, что какой, мол, смысл таскать с собой такую тяжесть, когда ты грамоту все равно не знаешь.

Ханрахан, озлившись, сунул Вергилия обратно в карман и спросил, не найдется ли у них в доме по случайности колоды карт, потому что карты лучше книг. Когда достали карты, он взял их в руки и стал тасовать, и, пока он тасовал, что-то смутное забрезжило словно бы у него в голове, и он схватился рукой за лицо как человек, который мучительно пытается что-то важное вспомнить, и сказал: «Я был тут с вами раньше, и где вообще я был в такую же вот ночь, как эта?» — а потом он вскочил вдруг на ноги, так что карты посыпались на пол, и сказал еще, уже громче:

— Кто из вас принес мне весточку от Мэри Лавелл?

— Мы видим тебя сегодня в первый раз, и никто из нас и слышать не слышал о Мэри Лавелл, — ответил хозяин дома. — А кто она такая и о чем ты вообще говоришь?

— Была такая же ночь, год назад, и я сидел в амбаре, и еще там были люди, они играли в карты, деньги лежали на столе, и люди эти перепихивали их от одного к другому, а потом еще к другому — а мне передали весточку, и я вышел, чтобы идти к моей любимой, которая ждала меня, к Мэри Лавелл. — А затем Ханрахан выкрикнул в полный голос: — Где я был все это время? Где я был весь этот год?

— Трудно сказать, где ты все это время был, — сказал самый старший из сидевших в комнате, — и в какие тебя носило дали; похоже, не с одной дороги пыль на твоих ногах, потому что многие пропадают вот так, а после ничего не помнят, — сказал он, — ежели коснулся их однажды кто из «знати»⁸⁴.

— Твоя правда, — сказал другой. — Знавал я однажды женщину, так она пропала и скиталась бог знает где аж целых семь лет; потом она вернулась и рассказывала близким своим, что часто за эти годы рада была, если ей давали похлепать свиного пойла. А те-

⁸⁴ То же, что и фэйри, сиды, ши.

бе, земляк, сходить бы поперед всего к священнику, — добавил он, — и пусть он снимет с тебя все как есть, что бы на тебя ни наложили.

— К любимой моей, к Мэри Лавелл, вот я к кому сейчас пойду, — сказал Ханрахан, — и так я слишком уж подзадержался. Откуда мне знать, что с ней могло случиться, за целый-то год?

И он направился было к двери, но они все принялись его упрашивать остаться хотя бы на ночь и набраться перед дорогою сил; оно и в самом деле ему было куда как кстати, потому что был он слаб, а когда ему дали поесть, ел он так, как будто отродясь еды в глаза не видел, и один из них сказал: «Да, этого, видать, пасли на тощей травке».

Вышел Ханрахан из дому, когда совсем уже было светло, и время тянулось для него долго, дольше некуда, покуда не добрался он до дома Мэри Лавелл. Но когда он до дома ее все ж таки добрался, то увидел, что дверь в доме сломана, что солома с крыши пообсыпалась и что нет в округе ни одной живой души. Он пошел тогда к соседям и стал их расспрашивать, что такое с ней случилось, но и те тоже знали немного: из дома ее, мол, выгнали, потом она вышла замуж за какого-то наемного рабочего, и они уехали искать работу не то в Лондон, не то в Ливерпуль, не то в другой какой большой город. И так он никогда и не узнал, к лучшему переменялась жизнь ее или к худшему, потому как не встречал ее с тех пор ни разу и даже весточки от нее никакой не имел.

Сучение веревки

Как-то раз ближе к вечеру невдалеке от Кинвары шел по дороге Ханрахан и вдруг услышал, что в одном тамошнем доме — от обочины два шага — играют на

скрыпке. Он тут же свернул на тропинку, которая к этому дому вела, потому как не в его то было обычае услышать, скажем, музыку или увидеть где танцы или просто хорошую компанию, да и пройти себе мимо. Хозяин дома стоял как раз в дверях и, увидевши Ханрахана, тут же узнал его и сказал: «А, Ханрахан, добро пожаловать, давненько тебя здесь не видали». Но тут подошла к двери хозяйка и сказала мужу так: «Уж лучше бы сегодня Ханрахан веселился в другом каком месте, потому что дурная у него слава среди священников и среди порядочных женщин, которые себя блюдут, да к тому же глянь-ка, как у него ноги ходят, вот уж не удивлюсь, ежели он нынче уже пропустил стаканчик-другой». Однако хозяин слушать ее не стал: «Я, — говорит, — никогда не затворю свою дверь перед Ханраханом, который поэт», — и с этими словами пригласил его войти.

В доме собралось народу великое множество, все больше соседи, и некоторые из них Ханрахана помнили в лицо; но ребята, сидевшие по углам, о нем до сего дня разве что слышали, и вот они встали все, чтобы получше его разглядеть, а один из них спросил: «Не тот ли это самый Ханрахан, у которого была школа, а потом *они* его украли?» Но мать зажала ему рот и велела помалкивать и не говорить ничего такого, а тем более вслух. «Потому что Ханрахан здорово злится, — сказала она, — ежели кто об истории этой при нем заговорит, а тем паче ежели начнут его об этом спрашивать». Кто-то стал кричать, чтобы Ханрахан им спел, но тут хозяин дома сказал, что, мол, не время просить его петь, покуда он не отдохнул с дороги, и налил ему виски в большой стакан, а Ханрахан его поблагодарил и выпил за его здоровье.

Музыкант как раз настроил скрипку на следующий танец, и хозяин дома сказал, обращаясь ко всем местным парням, что вот сейчас они увидят, что значит

танцевать по-настоящему, потому как не было здесь ни танцев стоящих, ни танцоров с тех пор, как Ханрахан в последний раз сюда заглядывал. Ханрахан же сказал на это, что танцевать он не станет и что у ног его есть лучшее теперь занятие, чем танцы, — бродить по всем по четырем ирландским землям. Только он это успел сказать, на пороге появилась Уна, хозяйская дочь, она как раз ходила принести кусок-другой коннемарского торфа, чтобы подбросить его в очаг. Она бросила торф в очаг, взметнулось пламя, осветило ее, и оказалось, что очень она собой хорошенькая и улыбочивая вся как есть, и тут же двое или трое парней из местных встали с мест и пригласили ее танцевать. Но тут через всю комнату подошел к ней Ханрахан, оттолкнул всех прочих плечом и сказал, что танцевать она будет с ним, потому что он столько времени к ней за этим шел. И похоже, шепнул он ей на ушко свое какое-то слово, потому что встала она, ни слова против не сказавши, с ним рядом, и щеки у нее зарумянились. Встали рядом и другие пары; но, когда танец совсем уже было начался, Ханрахан глянул вдруг вниз и увидел башмаки свои, растрескавшиеся и протертые до дыр, и просвечивающие сквозь них рваные грязные носки; и тогда он обозлился, сказал, что пол, мол, в доме неровный, да и музыка так себе, и сел где потемнее, от очага невядалеке. Однако стоило ему уйти, следом ушла и девушка и села с ним рядом.

А танцы шли себе и шли, одна мелодия кончалась, и тут же начиналась следующая, и какое-то время никто не обращал внимания ни на Уну, ни на Ханрахана; так они и сидели в темном своем углу. Беспokoилась одна только мать, и вскорости она Уну позвала и попросила помочь ей накрыть в дальней комнате стол. Но Уна, которая никогда ей раньше ни в чем не перечила, сказала, что она ей, конечно, поможет, но только чуть позже, а сама продолжала слушать, что ей там шептал на

ушко Ханрахан. Мать забеспокоилась еще того пуще и принялась под разными предлогами подходить к ним за разом раз все ближе; то кочергой помешает в огне, то вытрет пыль с каминной полки, и все чтобы хоть краем уха ухватить, что такое этот самый поэт нашептывает ее бедной девочке. Раз она услышала, что речь идет о белорукой Дейдре и о том, как нашли из-за нее свою смерть сыновья Уснеха, и что румянец на ее щеках не был так сочен и ал, как пролитая за нее кровь сыновей короля, и как ее печали навсегда остались в памяти людской; и еще Ханрахан сказал, что не иначе именно из-за нее крик ржанки на болоте отзывается в Ирландии поэту скорбью, как будто плачет юноша по убитым друзьям; и не жила бы память о ней и красоте ее так долго, сказал он, если бы не поэты, которые воспели ее в своих песнях. А на другой раз мать не слишком-то поняла, что он там говорил, но, насколько ей было слышно, звучало это вроде как стихи, хоть и без рифмы, а запомнила она такие вот слова: «Солнце и луна суть мужчина и девушка, как я да ты, как жизнь моя и как твоя, Уна, жизнь, и ходят они вечно вдвоем, ходят и ходят под небесами, как будто под одним плащом. Бог так и создал их вдвоем — друг для друга. Он создал наши жизни, твою и мою, до начала Творения, Он создал их затем, чтобы прошли они сквозь мир по кругу, туда и обратно, как два танцора, как два самых лучших танцора, которые пляшут себе в амбаре на чистом дощатом полу, туда и обратно, и смеются, и рады они, и нет им усталости, когда все прочие выбились уже из сил и подпирают стены».

Хозяйка пошла тогда к столу, где муж ее играл с гостями в карты, но он даже и слушать ее не захотел; тогда она пошла к одной старухе, к соседке, и сказала: «Неужто никак у нас не выйдет отлепить их друг от друга?» — а потом, не дожидаясь ответа, сказала нескольким парням, что стояли тут же, рядом, и говори-

ли промеж собой: «Что толку с вас, коль вы не в силах уломать такую вот красавицу с одним из вас хоть раз потанцевать? Давайте-ка, — сказала она им, — идите все разом и пригласите ее, будет ей уже поэтов-то слушать». Но Уна не дала им даже слова сказать, а только махнула так досадливо рукой, чтобы, мол, шли себе восвояси. Тогда они обратились к Ханрахану и сказали, что пусть он либо сам танцует с девушкой, либо же отпустит ее танцевать с кем другим. Услышавши такие их слова, Ханрахан сказал: «Ваша правда, надо мне с ней станцевать; не с вами же ей такой отплясывать, в конце концов».

Он встал с нею вместе и вывел ее за руку на середину, и некоторые из парней были злы на него, другие же стали насмешничать над рваной его курткой и над разбитыми башмаками. Но он как будто их не замечал, и Уна их как будто бы не замечала, они просто смотрели друг на друга, да так, словно весь мир принадлежал только им двоим.

Но тут вышла в круг еще другая пара, которая тоже сидела да ворковала весь вечер, они подали друг другу руки и пошли на середину, стараясь попасть ногами музыке в такт. Тут Ханрахан развернулся к ним спиной, вроде как озлившись, и вместо того, чтоб танцевать, начал вдруг петь и, пока он пел, держал руку Уны в своей руке, и голос его становился все громче, и парни перестали насмешничать над ним, и музыкант перестал играть, и вот уже ничего не было слышно, кроме голоса его, мощного, как ветер ночью. А пел он песню, которую услышал или сам сложил, бродя как-то раз по Слив-Ахтга, и слова в ней были такие, ежели, конечно, попробовать переложить их на английский язык:

Когда придем в широкий дол,
Где любящим раздолье,

Нас смерти тощая рука
Не сыщет в этом доле.
Там круглый год цветут цветы,
Там яблоки на диво,
И реки вкрай текут вином
И пьяным темным пивом.
Там в светлых золотых лесах
Под старые напевы
С глазами синими, как лед,
Танцуют королевы.

И пока он пел, Уна подходила к нему все ближе и ближе и побледнела вся с лица, а глаза у нее были теперь не голубые, но серые от слез, и кто бы ни взглянул на нее в эту минуту — подумал бы непременно, что вот она готова идти за ним теперь хоть на край земли. Но тут один из парней крикнул: «Да где ж та страна, о которой он поет так складно? Ты, Уна, в голову-то возьми, что дотудова не ближний свет, всю жизнь, поди, пробродишь по дорогам». А другой сказал: «Ты не в Страну Вечной Молодости с ним попадешь, а в Мэйо Веквечной Болотности».

Уна глянула на Ханрахана, как будто спросить чего хотела, но тут он поднял руку ее в своей руке вверх и то ли крикнул, то ли спел во весь голос: «Страна эта под нашими ногами, куда бы мы ни шли, здесь она, здесь она, рядом: на голом холме за деревней и в самой чаще леса». И, следом, очень громко и отчетливо: «В самой чаще леса; Смерть не найдет нас в самой чаще леса». А потом вдруг спросил: «Ты пойдешь со мной, Уна?»

Пока он все это говорил, две старухи вышли за порог, где плакала одна в темноте мать Уны, и она им сказала:

— Он ее заколдовал. Может, хоть мужчины выкинут его из дома.

— Нет, — сказала старуха, — так не пойдет, так нельзя. Он же поэт, и поет он по-гэльски; ты же зна-

ешь прекрасно, что, если выгонишь такого из дому, он так тебя проклянет, что и хлеб весь высохнет на полях, и у коров не будет молока, и висеть оно будет в воздухе, это его проклятие, целых семь лет⁸⁵.

— Господи ты боже мой, — сказал мать Уны, — и зачем я только в дом-то его пустила, ведь знала же, что про него говорят!

— Никакого не было бы вреда, если бы ты с самого начала его не пустила, но вот выгнать его — это будет беда. Но вот послушай, есть у меня способ сделать так, чтобы он вроде как сам из дому ушел, и никто его даже пальцем не тронет.

Чуть времени спустя обе эти старухи снова вошли в дом, и у каждой было в переднике по охапке сена. Ханрахан уже не пел — он снова говорил с Уной, негромко и очень быстро, и вот что он сказал: «В доме тесно, и просторно в мире; тот, кто любит, не должен бояться ночи или утра, ни солнца, ни звезд, ни теней вечерних, и ни единой сущности земной».

— Ханрахан, — сказала тут хозяйка дома, ударивши его по плечу, — ты не поможешь мне? Я тебя надолго не займу.

— Правда, Ханрахан, — сказала одна из соседок, — помог бы ты нам ссучить из сена веревку, у тебя же руки золотые, а тут, понимаешь, ветер налетел, и навес-то над скирдой поразметало.

⁸⁵ Песнь проклятия была одним из наиболее мощных средств воздействия древнеирландских филидов, поэтов-сказителей, как на частных лиц, так и на общественное мнение в целом. Во многом именно благодаря магическим свойствам песен хвалы и хулы филиды имели в древнеирландском обществе весьма высокий социальный статус, коим пользуется отчасти по дошедшей через века традиции даже и Ханрахан. Кстати, и в древней Ирландии филиды, судя по всему, зачастую использовали общий страх перед филидической песней проклятия в качестве инструмента шантажа — как в высоких, скажем политических, так и в чисто корыстных целях.

— Хорошо, — ответил Ханрахан, — я вам помогу.

Он взял в руки маленькую палочку, и хозяйка стала подавать ему сено, а он стал сучить, и сучил он быстро, как только мог, чтоб поскорее закончить. А женщины стояли вокруг, переговаривались, подавали ему сено и подбадривали его: мол, такой уж он хороший сучильщик, никто из местных-де и в подметки ему не годится, да и вообще они в жизни не видывали, чтобы веревку сучили так быстро, да еще такую крепкую. Ханрахан же, увидав, что Уна смотрит на него, стал сучить еще того быстрее, даже и не глядя на веревку, и хвастал ловкостью своей, и ученостью, и силою рук.

И так вот, хвастая, он пятился и пятился назад, и сучил себе веревку, пока не дошел до самой двери; дверь ему отворили, вот он и переступил, не задумываясь, порог и очутился прямо на дороге.

И как только он переступил порог, хозяйка выбросила тотчас следом за ним сученую веревку, захлопнула что было силы дверь и заложила засов. И так она была собой довольна, что рассмеялась в голос, и все соседи тоже стали смеяться и хвалить ее за ловкость. Но тут они услышали, как Ханрахан ломится снаружи в дверь и выкрикивает слова проклятий, и мать едва успела оттащить от двери Уну, чтобы та не отворила засов. Тогда хозяйка кивнула музыканту, и музыкант стал наяривать плясовую, а один из парней, не спрашивая уже разрешения, подхватил Уну за руки и утащил ее в самую серединку танца. А когда смолкла скрипка и все остановились, снаружи не было слышно ни звука, и на дороге стало тихо, как будто там и не было никого.

Что же до Ханрахана, то, когда он понял, что его выставили вон и что сегодня не будет уже ему на ночь ни крыши над головой, ни выпивки, ни девичьего ушка,

весь гнев его и вся его смелость растаяли как-то сами собой, и он побрел туда, где волны бились в берег моря⁸⁶.

Он сел на берегу на камень и принялся размахивать правой рукой и петь негромко и протяжно, как делал обычно, чтоб ободрить себя, когда иного ничего ему не оставалось. И в тот ли самый раз или в другой какой сложил он песню, называемую до сей поры «Сучение веревки», которая начинается словами: «Черт занес меня в тот дом», — неизвестно.

Он пел так какое-то время, а потом вокруг него стали будто бы собираться тени и клочья тумана, и некоторые приходили с моря, другие же над водами так и носились. Ханрахану почудилось, что одна из теней похожа была на царственную ту женщину, которую он видел во сне на Слив-Ахтга; только теперь она не спала, а смеялась над ним и кричала тем, прочим, кто был у нее за спиной: «Он струсил, он струсил, духу у него не хватило!» И он вдруг почувствовал, что пряди соломенной веревки-то все еще у него в руках, и он стал сучить ее дальше, и, пока он сучил, ему стало казаться, что все скорби и горести мира сплетает он воедино. А потом ему пригрезилось, что веревка обернулась вдруг огромным водяным змеем, и змей этот выполз из моря, обвился вокруг него и стал его душить. А потом он высвободился кое-как и побрел, шатаясь, спотыкаясь то и дело, вдоль по берегу, и серые тени клубились вокруг него тут и там. Вот оттого-то и говорят: «Горе тому, кто не ответил на зов дочери сидов, ибо не найти ему отныне успокоения в любви земной женщины до самого скончания времен, до самой его смер-

⁸⁶ Непереводаемая игра слов. Слово *strand* в английском означает не только берег моря (с оттенком некоторой выпренности, книжности), но и прядь каната либо же веревки. А в значении глагола — не только «ссучивать», «плести канат», но и «садиться на мель» — как в прямом, так и в переносном смысле.

ти, и могильный холод поселится отныне на сердце у него. Он выбрал смерть; так пусть же он умрет, пусть умрет, пусть умрет».

Ханрахан и Кэтлин, дочь Холиэна

Шел как-то раз Ханрахан с юга на север, нанимаясь по случаю к фермерам в страдную пору, а в прочие времена перебиваясь рассказываньем историй всяческих и баек да пеньем песен на свадьбах и похоронах.

И вот однажды по дороге в Колуни нагнал он некую Маргарет Руни, женщину, которую доводилось ему знать еще в юные годы, в Мунстере. Слава о ней тогда шла не дай бог, и в конце концов приходской тамошний священник выгнал ее из деревни вон. Он узнал ее по походке, по цвету глаз да еще по особенной манере откидывать левой рукой с лица волосы. Она сказала, что ходит по округе и продает селедку и всякую такую разность, а теперь вот возвращается в Слайго — у нее там в Бэрроу домик, где живет она еще с одной женщиной, с Мэри Гиллис, а история у той точь-в-точь такая же, как у нее самой. И вот если бы Ханрахан, так она сказала, отправился с ней и поселился в этом их доме, и пел бы песни свои для бэрроуских оборванцев, для слепых и скрыпников, она тому была бы очень рада. Еще она сказала, что хорошо его помнит, что он до сих пор ей нравится; а что до Мэри Гиллис, так та вообще сколько-то песен его знает наизусть, и пусть он не боится, что его там плохо примут, а все оборванцы и нищие будут с ним делиться заработанными за день деньгами, и так станут платить ему за песни и за всякие там байки все время, пока он будет с ними, и разнесут его имя и славу о нем во все концы Ирландии.

А он и рад был пойти с ней, рад, что нашлась такая женщина, которая выслушает всю как есть долгую историю о горестях его и бедах и утешит его.

Случилось это как раз на закате, когда всякий мужчина — красавец и всякая женщина хороша. Она обняла его, покуда он рассказывал, как ему не повезло в ночь Сучения Веревки, и в сумерках смотрелась она как всякая другая женщина — не лучше и не хуже.

Они проговорили всю дорогу до Бэрроу; что же касается Мэри Гиллис, то едва она увидела его на пороге и услышала, кто он есть такой, так и вовсе едва не расплакалась от счастья, что такой вот великий человек — и вдруг у них в доме.

Ханрахан с радостью у них остановился, потому что устал уже скитаться по дорогам: ведь с того самого дня, как он пришел к Мэри Лавелл, а она, как выяснилось, уехала с кем-то куда-то, и домик ее стоял пустой, и крыша провалилась, он так и не пробовал ни разу пустить где-нибудь корни; и нигде он не задерживался настолько, чтобы увидеть молодые листья на месте тех, которые увяли, или как жнут пшеницу там, где сеяли при нем на пашне. Да разве и не было оно к лучшему, когда была у него теперь каждый день крыша над головою, и огонь по вечерам, чтобы согреться, и пищу ставили на стол, даже если он о том и не просил.

Изрядную часть своих песен он там-то как раз и сложил, в доме, где было ему куда как спокойно, где все его любили и заботились о нем. По большей части песни были о любви, но случались и песни горести, и несколько было песен об Ирландии и о ее печалях, под тем ли именем он ее выводил или же под другим.

Всякий вечер оборванцы, и нищие, и слепые, и скрипники собирались в этом доме послушать его песни и стихи, его рассказы о древних временах, о фениях, а потом сохраняли их в памяти своей, не испорченной чтением книг; и вскорости не стало во всем Коннахте ни свадьбы, ни похорон, ни паттерна, где не звучало бы имя Рыжего Ханрахана. За всю свою жизнь он никогда не жил так славно и не зарабатывал столько денег, как в эту счастливую пору.

Однажды декабрьским темным вечером он пел одну не слишком длинную песню о нескольких светловолосых парнях, которые покинули родной свой Лимерик и вот скитаются теперь и блуждают во всех концах света. В дом набилась в тот вечер уйма народу, и даже несколько ребят тоже забрались вовнутрь, устроились на полу у очага и пекли теперь в золе картошку или же еще чем-то таким же важным были заняты, слишком заняты, чтобы обращать внимание на Ханрахана и на то, что он там такое поет, но даже и много лет спустя при одном только имени его они вспоминали тот вечер, и звук его голоса, и как он размахивал рукой, и самый вид его, сидящего на краешке кровати, так что тень падала за его спиной на беленую стену и вырастала порой до самой до стрехи.

Вдруг он замолк, глаза его заволоклись дымкой, как если бы он разглядывал что-то в дали невероятной.

Мэри Гиллис как раз наливала ему виски в кружку — кружка стояла на столе у него под рукой; она остановилась тоже и спросила: «Ты что, никак в дорогу собрался?» Маргарет Руни услышала эти ее слова и не поняла, почему она так сказала, но приняла их близко к сердцу, очень близко, потому что испугалась потерять мужчину такого славного и знаменитого, и столько народу приходит в дом каждый день только лишь благодаря ему. Она встала и подошла к нему.

— Ты и вправду хочешь от нас уйти, хороший мой? — спросила она, поймав его за руку.

— Я вовсе не об этом думал, — ответил ей Ханрахан, — я думал об Ирландии и обо всех тех горестях, что тяготят ее.

И тут он подпер голову рукой, и пропел такие вот слова, и голос его был как вопль ветра в месте одиноком и заброшенном.

Черный ветер на Куммен врывается с левой руки,
Боярышнику на взгорье обламывая суки;

На черном ветру решимость готова оставить нас,
Но мы в сердцах затаили пламень твоих глаз,
Кэтлин, дочь Холиэна.

Ветер пронесит тучи над кручею Нокнарей,
Швыряет грома, тревожа покой могильных
камней;
Ярость, как бурная туча, переполняет грудь,
Но мы к стопам твоим тихим нежно желаем
прильнуть,
Кэтлин, дочь Холиэна.

Клотнабарские воды выходят из берегов,
Слыша в звенящем небе ветра влажного зов;
Словно полые воды, отяжелела кровь,
Но чище свечи пред распятым наша к тебе
любовь,
Кэтлин, дочь Холиэна⁸⁷.

И покуда он пел, голос его начал ломаться и слезы потекли по щекам; Маргарет Руни закрыла лицо руками и тоже стала плакать с ним вместе. Потом слепой нищий, который сидел у самого огня, рванул на груди лохмотья с полувыдохом-полувсхлипом, и уж после этого никого не осталось в доме, кто не плакал бы навзрыд⁸⁸.

Проклятие Рыжего Ханрахана

Ясным весенним утром, много лет спустя после того, как Рыжий Ханрахан ушел-таки из дома Маргарет Руни, шагал он по проселочной дороге невядалеке от Колуни, и на душе у него было радостно, потому что

⁸⁷ Перевод А. Сергеева.

⁸⁸ Одним из непрременных умений древних ирландских фидлов было умение спеть песнь смеха и песнь плача так, чтобы никто из слушающих не смог сдержать смеха или же слез.

в цветущих кустах у дороги пели птицы, и сам он тоже пел на ходу. Шел он, в общем-то, к себе домой, хоть то и не был дом в собственном смысле слова, а так, лачужка, но Ханрахан и ею был вполне доволен. Ибо скитался он по дорогам несчетное уже количество лет, от дома к дому, в любое время года; и пусть открыты были для него все — или почти все — двери, пусть не встречал он обыкновенно отказа во всякой вещи, ежели только была она в доме, но в последнее время стало ему казаться, что голова у него уже не та, что прежде, и скрипит порой, как скрипят у стариков суставы, и куда труднее стало шутить всю ночь и подначивать гостей так, чтобы парни покатывались со смеху над его остротами, и женщин завораживать песнями тоже стало куда трудней.

И вот сколько-то времени тому назад набрел он случайно на маленькую хижину, принадлежавшую одному батраку, который подался как-то раз в сезон на заработки, да так и не вернулся. И когда Ханрахан подправил крышу, соорудил в углу постель из нескольких старых мешков и пары охапок камыша и вымел пол, домик оказался хоть куда, и ему пришлось по нраву жить в таком вот хорошем месте, откуда можно в любое время уйти и вернуться в любое время, где можно просидеть хоть целый вечер, подперевши голову руками, коли одолеет, скажем, вдруг тебя хандра или тоска по ушедшим временам. Один за другим соседи стали присылать к нему своих ребят, чтоб поучил он их чему сам знает; дети приносили с собой кто полдюжины яиц, кто овсяную лепешку, кто пару дернин, и на жизнь ему хватало.

А если Ханрахан уходил, к примеру, на день-другой в Бэрроу, чтобы повеселиться там от души, никто ему и слова дурного не говорил, потому как все понимали прекрасно, что он поэт и на месте долго усидеть не может.

Вот как раз из Бэрроу он и шел в то утро; на сердце у него было легко, и напевал он какую-то песенку, которая только что сама собой сложилась у него в голове. И вот же незадача: шел он так себе шел, и вдруг дорожку ему перебежал заяц, проскочил под стенкою в дыру между камней и порскнул в поле. А если заяц перебежит тебе дорожку — ничего хорошего тебя впереди не ждет, и Ханрахан знал об этом прекрасно и вспомнил тут же, что именно заяц загнал его в Слив-Ахтга, когда Мэри Лавелл сидела в своем домике и ждала, когда он к ней придет, и что с того самого времени и нет ему нигде покоя. «Ну вот, — сказал Рыжий Ханрахан, — опять, поди, подложат мне какую-нибудь свинью».

И едва он успел сказать эти свои слова, послышалось ему, что кто-то плачет в поле, совсем рядом. Он глянул через стену и увидел, что там, за стеной, под кустом белого боярышника сидит девчонка, молоденькая совсем, и плачет так, словно душа ее вот-вот оторвется от тела. Лицо она спрятала в ладонях, но шейка у нее была белая, волосы мягкие, и сама она была такая свежая, что на ум ему пришли немедленно Бриджет Перселл, и Маргарет Гиллан, и Мэйв Коннелан, и Уна Кэрри, и Селия Дрисколл, и все те прочие девчонки, ради которых слагал он песни и чьи сердца когда-то приворожил, благо язык у него всегда был подвешен что надо. Она подняла на него глаза, и он увидел, что девчонка эта соседская, дочь одного местного фермера.

— Что с тобой случилось, Нора? — спросил он.

— Ничего такого, в чем ты бы мог помочь, Рыжий Ханрахан.

— Ежели гнетет тебя какая печаль, — сказал он ей, — никто, пожалуй что, лучше меня тебе и не поможет, потому как ведома мне вся как есть история греков и я знаю прекрасно, что такое печаль, и расставание, и всякая в мире горесть. А если сам я не смогу спасти

тебя от бед, — сказал он, — так многих и многих спасала сила моих песен, как то было заведено с песнями всех прочих поэтов, от самого начала Творения. С ними-то, с поэтами, я и стану сидеть и беседовать в далеком каком-нибудь месте за границею мира, когда кончится время, когда жизнь моя выйдет вся, — так он ей сказал.

Девчонка перестала плакать и сказала ему:

— Оуэн Ханрахан, я слышала, что тяжело тебе жить, и тоскливо, и что все горести мира ты узнал с тех пор, как отказал в любви королеве из Слив-Ахтга, и что она тебя в покое не оставит. Но вот если кто из земных людей причинит тебе зло, так ты вроде можешь сделать так, чтобы это зло обратно к ним и вернулось. А если я тебя попрошу об одной такой вещи, Оуэн Ханрахан, скажи, ты сделаешь?

— Конечно сделаю, — сказал он ей в ответ.

— Батюшка мой, и матушка, и все мои братья, — сказала ему девушка, — все они сговорились и хотят теперь выдать меня замуж за старого Падди Доу, потому что у него на горе своя ферма на целых сто акров. И вот если бы ты мог, Оуэн Ханрахан, — сказала она, — вставить его в какой-нибудь стих, вроде как ты вставил старого Питера Килмартина, когда ты был молодой, так, чтобы не было ему радости ни когда он встает, ни когда он спать ложится, и чтобы думал он о колунийском кладбище, старый дурак, а не о свадьбе. И вот если бы ты сделал это поскорей, потому что свадьбуто назначили на завтра, а я скорей помру, чем пойду за него замуж.

— Я вставлю его в такую песню, что ему будет плохо и стыдно; но ты мне вот что скажи, а сколько ему лет, этому Падди Доу, чтобы я мог сказать про это в песне?

— Да что ты, он совсем уже старый. Ну, вот как ты примерно, Оуэн Ханрахан.

— Примерно, говоришь, как я, — сказал Ханрахан, и голос у него осел, — примерно как я... Да-да, ведь между нами лет двадцать, не меньше! Плохие настали дни для Оуэна Ханрахана, раз девчонки, у которых май цветет на щеках, считают его стариком. Ах ты горькая ты моя, — сказал он, — какую ты мне занозу посадила в сердце!

Он развернулся и пошел от нее прочь, вниз по дороге, пока не попался ему на глаза придорожный камень, и тогда он сел, потому что словно бы все его годы разом повисли у него на плечах. И он вспомнил, что буквально несколько дней тому назад он зашел в какой-то дом и женщина в этом доме сказала ему: «Какой же ты Рыжий Ханрахан? Ты уже не рыжий теперь, ты Пегий Ханрахан, волосы-то у тебя цветом стали совсем как пакля». А другая женщина, когда он попросил у нее напиток, не подала ему свежего молока, а подала скисшего; и несколько раз уже случалось так, что девчонки принимались хихикать и перешептываться с дурными этими деревенскими парнями на самой середине какого-нибудь из лучших его стихов или даже когда он просто говорил разные забавные вещи. И он подумал о том, как нехотя подаются его суставы, когда он встает теперь по утрам, как болят колени после долгого пути; и ему показалось вдруг, что он совсем уже старик, с прострелом в пояснице, со старческими веснушками на голених, что вот у него уже и одышка, и что вот-вот он высохнет совсем, как скелет. Мысли эти вызвали в нем целую бурю гнева — против старости и всего, что несет она обыкновенно с собой.

Как раз в это самое время он поднял голову, увидел в небе большого пятнистого орла, плывущего неспешно в сторону Баллигали, и крикнул: «И ты тоже, орел с Баллигали-хилл, ты тоже старик, и перья у тебя в крыльях не все, повыпали перья-то! Ужо сложу я про тебя и присных твоих, про щуку из озера Дорган и про старый

тис с Чужаковой Крутизны такой стишок, что на веки вечные останется он вам проклятием, на веки вечные, слышишь?»

Слева от него у дороги рос куст, цветущий, как и прочие; дунул ветер и осыпал Ханрахану куртку белыми лепестками цветов. «Ах, цветочки майские, — сказал он, собирая их в ладонь, — вот вы-то старости не знаете, потому как умираете в самую пору своего цветения; пожалуй, я и вас вставлю в свой стишок и благословлю вас». Он встал, отломил с куста короткую ветку и понес с собой в руке.

И домой он в тот день вернулся старик стариком, сутулый и с потемневшим как есть лицом.

Когда он добрался до своей хижины, там никого не оказалось, и он лег на постель лицом вверх, как то обычно с ним бывало, когда ему приходила охота сложить стишок, или хвалебную песнь, или проклятие. Прележал он так на сей раз совсем недолго, потому что древняя, *рыжая*, как пламя, ярость бардов была сегодня с ним. А когда он сложил свою песнь проклятия, он начал думать, как бы ему так ее разослать, чтобы сразу и на всю округу.

Стали приходить один за другим его ученики, чтобы узнать, будут сегодня в школе какие занятия или нет; Ханрахан поднялся с постели, сел на скамью возле очага, и все они стали вокруг него.

Они думали, что он вынет сейчас Вергилия, или требник, или, может быть, задачник, — он же вместо книги поднял повыше цветущую ветвь боярышника, которую все еще держал в руке. «Дети, — сказал он им, — вот новый урок, который я вам дам сегодня. Сами вы и все на свете красивые люди — как эти вот цветы, а старость — как ветер, который приходит и обрывает их. А потому я сочинил проклятие на старость и на стариков; вот послушайте, сейчас я вам его наговорю». И после этих слов стал говорить проклятие:

Был Оуэн Ханрахан, поэт, под куст цветущий сел он
И проклял голову свою за то, что поседела;
Орла он проклял с Баллигали-хилл, ветрам весенним
вторая,
За то, что тыщу лет глядит на страх людской и горе;
И тис, что рос сто тысяч лет и что растет поныне
На Чужаковой Крутизне и в Ветреной Лощине;
Потом он проклял щуку из озера Касл-Дорган
За то, что не берет ее ни донка, ни острога;
И Падди Бруэна, чей дом, где Женихов Колодец,
За то, что, старый, облысел, а пить никак не бросит;
Был проклят друг его, Майкл Гилл, и Питер Харт, сосед.
За то, что как пойдут плести, конца и края нет;
И старый Шемас Куллинан за то, что, костылями
Упершись в землю, кое-как по миру ковыляет;
Пусть ветер с севера дохнет и сдохнет Падди Доу,
За то, что на младую плоть ярится старый клоун,
За то, что девочка за ним засохнет молодая,
Пусть проклят будет он, доколь его не закопают;
Ну а потом благословил он цвет весенний мая
За то, что тот всегда хорош, цветет ли, увядает.

Он проговаривал его чуть не по складам, каждый стих, покуда каждый из учеников не запомнил свой кусок, а те, кто был повострее других, запомнили все целиком.

— Это вам на завтра, — сказал он. — А теперь идите и пойте эту песенку на мотив «Вязанки камыша» всем встречным и поперечным, и старикам ее пойте тоже.

— Ага, я так и сделаю, — сказал один из ребят, — я и старого Падди Доу знаю. Тот год, в сочельник, на Святого Джона, мы ему в дымоход мышь скинули, но это куда лучше всякой мыши.

— А я пойду сейчас в Слайго, в самый город, и буду петь ее на улицах, — сказал другой.

— Хорошо, — сказал Ханрахан, — а еще сходите в Бэрроу, перескажите там слова Маргарет Руни и Мэри

Гиллис и попросите их научить этой песне всех обрванцев и нищих, и чтобы они пели ее везде, куда их только ноги занесут.

Дети побежали прочь, лопааясь от гордости и этакго каверзного куража, выкрикивая на бегу слова песни, и Ханрахан понял, что о судьбе ее можно теперь не беспокоиться.

На следующее утро он сидел у дверей и глядел, как собираются по двое, по трое его ученики. Вот они собрались почти все; и он уже стал поглядывать на солнце, прикидывая, не пора ли начинать урок, как вдруг до слуха его донесся какой-то слитный гул, как будто жужжал пчелиный рой где-то неподалеку или как если бы гудела в половодье подземная река. Потом он увидел, что со стороны дороги к хижине его идет целая толпа, а потом, приглядевшись, обнаружил, что вся она состоит из одних только стариков, а ведут ее Падди Бруэн, Майкл Гилл и Падди Доу, и что у каждого старика в руке по крепкой ясеновой палке, а то и по шипастой терновой. Как только они увидели его издалека, палки так и заходили у них в руках из стороны в сторону, как ветви на дереве в бурю, и с шага они перешли на шаркающий старческий бег.

Ждать их Ханрахан не стал и бросился бежать вверх по склону, к вершине холма, который стоял как раз позади его хижины, и бежал, пока не потерял их из виду.

Некоторое время спустя он вернулся, обогнувши холм, по краю канавы, прячась в зарослях утесника, и увидел, что все это старичье собралось кругом его хижины и один из них как раз подцепил на вилы пучок горящей соломы и сунул его под крышу.

— Горе мне, горе! — вскричал тогда Ханрахан. — Старость, и Время, и Нemoшь, и Хворь — все ополчились против меня, и сам я их на это раздражил; видно, придется мне вернуться на дорогу. И, Царица ты

моя Небесная, головушка ты моя горькая, — сказал он еще, — прости ты мою душу грешную и защити меня от Баллигалийского орла, от тиса с Чужаковой Крутизны, от щуки с озера Касл-Дорган и от горящих факелов всей этой ихней родни, от Стариков!

Видение Ханрахана

Стоял июнь, и Ханрахан шел как раз по дороге не-вдалеке от города Слайго; шел он, однако же, не в город, а в сторону Бен-Балбена, ибо нашла на него тоска по старым временам, и потому он был не в настроении видеть сейчас людей обыкновенных. Он шел и на ходу пел песню, которая как-то раз сама собой пришла ему во сне:

Когда придем в широкий дол,
Где любящим раздолье,
Нас смерти тощая рука
Не сыщет в этом доле.
Там круглый год цветут цветы,
Там яблоки на диво,
Там реки вкрай текут вином
И пьяным темным пивом.
Там в светлых золотых лесах
Под старые напевы
С глазами синими, как лед,
Танцуют королевы.
Шепнула на ухо лиса:
«Ступи-ка за порог!»
С луною солнце заодно
Тянули поводок;
Лиса шепнула: «Да никак
Бедняк не чует ног,
Увидев раз широкий дол.
Ступивши за порог».

Взыграет сердце — и мечи
Тяжелые в руках
Запляшут, словно бубенцы
На золотых ветвях;
Но всяк убитый встанет жив
И смоем кровь и прах.
Не дай вам бог чего узнать
О тех богатырях.
Не то отложат заступы-серпы⁸⁹
Все те, кто жнет и пашет,
И будут их сердца пусты,
Как выпитые чаши.
Когда под вечер разлито вино
И хлеб нарезан тонко,
Трубу подымет Михаил
И протрубит тихонько.
И рыбохвостый Гавриил
Придет по водам, чтобы
Свой сказ начать о чудесах
На торных водных тропах.
Достанет он серебряный свой рог,
Чтоб истину в вине
Искать, покуда не уснет
На звездной крутизне.

Ханрахан стал карабкаться вверх по склону и петля перестал, потому как подниматься ему было нелегко и приходилось даже время от времени останавливаться, чтобы сесть на камушек и перевести немного дух. И вот во время одной такой остановки взгляд его упал на цветущий куст шиповника, выросший как раз у стены разрушенного рата; ему пришли на память дикие розы, которые он носил когда-то Мэри Лавелл, а после ни одной другой женщине диких роз он уже не носил. Он отломил себе маленькую ветку, так, чтоб оказались

⁸⁹ Слово *sprade* означает по-английски и «заступ», «лопату», и — во множественном числе — «пики» как карточную масть.

на ней и бутоны, и распутившиеся цветы, и снова запел в голос:

Шепнула на ухо лиса:
«Ступи-ка за порог!»
С луною солнце заодно
Тянули поводок;
Лиса шепнула: «Да никак
Бедняк не чует ног,
Увидев раз широкий дол,
Ступивши за порог».

И он опять пошел в гору, оставив рат за спиной, и в голову ему пришли две-три старые песни о любви, прекрасной или же, напротив, злой, и о том, что некоторым любящим удавалось одной только силою страсти пробудить от могильного сна тех, кого они любили, и перенести их в некое призрачное царство, где они с тех самых пор и живут, отринутые лика божьего, в ожидании Страшного суда.

В конце концов ближе к вечеру он взобрался на самую на Чужакову Крутизну, и лег у кромки скал лицом вниз, и принялся глядеть в долину, где уже расползлась от холма к холму сизая дымка.

И пока он так лежал и смотрел, ему стало казаться, что дымка принимает очертания призрачных мужчин и женщин, и сердце его при виде этого странного зрелища забилося от страха и радости. Руки его, и в обычное-то время беспокойные, принялись обрывать с шиповника лепесток за лепестком; он бросал их вниз и смотрел, как они кружатся в воздухе и летят в долину маленьким беспокойным облаком.

Вдруг он услышал музыку — очень тихую, но смеха и слез в ней было больше, чем во всякой прочей музыке. Душа его возрадовалась, и Ханрахан стал смеяться в голос, ибо знал, что музыку такую сотворить может только тот, кто красотой своей и величием превосходит всех людей на свете. А потом ему стало казаться,

что нежные лепестки шиповника, которые всё падали и падали себе, трепеща, в долину, стали менять форму, покуда каждый не стал мужчиной либо женщиной там, далеко внизу, в сизой дымке, и был на них на всех цвет роз. А потом единый цвет стал многоцветьем, и он увидел длинную процессию молодых мужчин, высоких и прекрасных, и женщин, статью и лицом подобных королевам; и все они шли не прочь от него, а совсем наоборот, прямо туда, где он лежал на краю пропасти, и проходили мимо; а лица их полны были нежности, каким бы гордым и надменным ни был взгляд; и были они бледные и усталые и как будто искали все чего-то странного, возвышенной некой печали. Их прозрачные руки тянулись вперед, и казалось, что вот-вот ухватят, вот-вот соткут из дымки дивный образ — но прикосновение было им заказано, и шли они в молчании и безгласности. А перед ними и позади них, в отдалении весьма почтительном, виднелись иные тени, которые то приближались, то удалялись, то пропадали с глаз долой, то возникали снова; и по неустанному их коловращению Ханрахан понял, что это ши, древние поверженные боги; и тени протягивали руки не для того, чтобы коснуться ши, которые ни грешить, ни повиноваться чужой воле не могут и не станут. А потом они пропали в отдалении и как будто бы вошли все в маленькую белую дверцу, открывшуюся на склоне горы.

Туман стелился перед ним теперь подобием пустого моря, омывающего подножия скал бесконечной чередой серых волн; но, пока он смотрел, море это стало опять закипать изнутри текучим, многоликим, безумным мельтешеньем жизни, которая была плоть от плоти и часть его самого; и в серой мгле явились руки и бледные лица, над коими вздымались, как высокие башни, целые кипы волос. Море дыбилось выше и выше, пока не стало вровень с краем пропасти, и тогда туманные тела сделались почти что плотными

на вид, и перед Ханраханом прошла еще одна процессия, по колено во мгле, неровными и зыбкими шагами, и что-то смутное, как свет звезды, сияло в самом сердце каждой тени.

Они подходили все ближе и ближе, и в конце концов Ханрахан увидел, что и эти — тоже любовники, что вместо сердец у них маленькие, в форме сердца зеркала и что они все глядят и не могут наглядеться на собственные отражения друг у друга в зеркальцах-сердцах. Они шли мимо, погружаясь постепенно во мглу, а потом их сменили иные тени — эти не шли уже попарно, эти двигались одна за другой, и манили к себе, и протягивали руки; тут Ханрахан заметил, что они все до одной — женщины, и лица их были прекраснее некуда, а тела — просто тени, безжизненные и прозрачные насквозь, волосы же у них на головах извивались и дрожали так, будто жили собственным странным подобием жизни.

А потом туман сгустился вдруг и поглотил их всех разом; примчался легкий ветерок, унес их к северо-востоку⁹⁰ и накрыл одновременно Ханрахана белым облачным крылом.

Он встал, весь дрожа, и собрался уже было отвернуться от долины прочь, как вдруг заметил две темные, скрытые наполовину облаком фигуры как будто бы у самого края пропасти, и одна из них, с тоскливыми глазами попрошайки, сказала, и голос был женский:

— Поговори со мной, ибо никто в этом мире, и во всех иных мирах тоже, не говорил со мною вот уже семь сотен лет.

— Тогда скажи мне, — спросил у нее Ханрахан, — кто все те прошедшие передо мной?

— Те, что шли первыми, — ответила женщина, — влюбленные, самые славные из всех их в древности,

⁹⁰ В ирландской мифологии северо-восток — самая хтоничная из всех сторон света.

Бланаид⁹¹, и Дейрдре⁹², и Грайне⁹³, и милые их дружки, а еще великое множество тех, о ком люди и не помнят уже, но любили-то их так же страстно. И поелику найти они пытались друг в друге не только первый цвет юности, но красоту такую же вечную, как ночь и звезды, ночь и звезды не дали им истлеть, сберегли их вопреки и смерти, и всем тем горестям, кои любовь их принесла когда-то в мир. А те, что шли за ними следом, — продолжила она, — те, которые могут все еще вдыхать сладость воздуха и ветра и у которых зеркала там, где сердце, — об этих поэты песен не сложили, потому что хотели все они только одного — победить один другого, и из этой гордыни своей сотворили некое подобие любви. А женщины с туманом вместо тел — тем не нужна была победа, и любить они тоже сами

⁹¹ Жена Ку Рои, одного из двух правителей Мунстера, наделенного в сагах целым рядом магических черт, и, по совместительству, любовница Кухулина, главного героя уладского цикла. Ку Рои, приехавший на место битвы Кухулина с войском Айлиля и Мэйв, находит его ослабевшим от ран после тяжелого поединка с Фер Диадом, а потому, вместо того чтобы драться с ним, защищает его от воинов Мэйв. Впоследствии Бланаид вместе с Кухулином убивают Ку Рои, придворный арфист которого, однако, мстит за смерть господина и прыгает в пропасть, утянув за собой и Бланаид.

⁹² Героиня «Изгнания сыновей Уислиу (Уснеха)» из уладского цикла. Прекрасная воспитанница уладского короля Конхобара, которая предпочла королевскому ложу ложе молодого воина по имени Найси, сына Уислиу. Сыновья Уислиу в результате были изгнаны из Улада, потом их пригласили вернуться и в нарушение клятв перебили всех до одного, причем вместе с Найси погиб Фиаха, сын Фергуса, выступавший для сыновей Уислиу гарантом безопасности, что, в свою очередь, стало причиной конфликта между Конхобаром и коалицией Фергус — Кормак — Дубтах, перешедшей после этого предательства в стан врагов Конхобара. Дейрдре приводят к Конхобару, и тот, продержав ее год в своем доме, отдает в конце концов в наложницы самому ненавистному для нее из всех уладов — Эогану, сыну Дуртахта, убийце Найси. По дороге в дом Эогана Дейрдре кончает жизнь самоубийством.

⁹³ См. примеч. 38.

не хотели, но хотели быть любимыми; и бескровны сердца их, бескровны тела, и не бывало там крови, покуда не входила толика с чьим-нибудь поцелуем; и вся их жизнь — как единый миг. Все, кого ты видел здесь, несчастны, но я несчастней их всех, потому что я — Дерворгилла, а рядом со мной — Диармайд, и это наш грех привел в Ирландию норманнов. Не было с тех пор в Ирландии поколения, в котором бы нас не прокляли, и никто не наказан так, как наказаны мы. Нам нужен был друг от друга только лишь первый цвет, мужской и женский, и, когда мы умерли, не было нам покоя, и вся горечь, вся ярость битв, принесенных нами в Ирландию, обернулась нашим проклятием. Мы обречены скитаться вместе, но Диармайд, мой любовник, видит тело мое таким, словно все это время оно пролежало в земле, а я не могу не знать, какой он меня видит. Спрашивай, спрашивай меня еще, ибо все эти годы мудростью легли мне на сердце, и никто меня не слушал все эти семь сотен лет.

Великий ужас снизошел тут на Ханрахана; он поднял руки над головой и крикнул три раза кряду, да так, что коровы далеко внизу, в долине, подняли головы и замычали в ответ, а птицы в лесу у края скал проснулись и завопили, засновали беспокойно между ветвей. И только за кромкою обрыва, чуть только оторвавшись, едва начав путь свой вниз, мельтешила, трепетала в воздухе стайка розовых лепестков, ибо приоткрылись врата Вечности на единый миг и снова захлопнулись, на единый смертный миг.

Смерть Ханрахана

Ханрахан, который никогда и нигде подолгу не задерживался, забрел опять в окрестности Слив-Ахтга и, кочуя от одной прилепившейся к подножию горы

деревушки к другой такой же — Иллетон, Скэлп, Бал-лили, оставался ночевать сегодня здесь, завтра там; и всюду ему были рады, из-за того что так много всякого он помнил про старые времена, и за песни, и потому, что он был человек ученый. В маленьком кожаном кисете под курткой были у него с собой несколько серебряных монет и немного меди, но нужды в деньгах он обычно не испытывал, поскольку и нужно-то ему было всего ничего, а из деревенских никому бы и в голову не пришло взять с него хоть пенни за стол и за ночлег. Рука его отяжелела на крепкой терновой палке, на которую он давно уже привык опираться на ходу, щеки высохли и ввалились; но до тех пор, пока каждый божий день была ему еда — картошка, и молоко, и кусок ячменной лепешки, он вроде как ни в чем и не нуждался; а уж в таком-то диком и заболоченном месте, как окрестности Ахтга, кружка самогона, горьковатого на вкус и с отдушкой торфяного дыма, никогда зававыкой не была.

Ханрахан бродил по лесу Кинадайф, по самой чаще, а то просиживал часами в камышах на берегу озера Белшрах, слушая, как журчат бегущие с горы ручейки, или следил за игрою теней в коричневой воде болотных окон; и сидел он так тихо, что даже олени, выходявшие ближе к вечеру из вереска попастьись на мягкой луговой траве и на огороженных каменными стенами полях, его не замечали.

Шли дни, и мало-помалу он словно бы перешел под власть иного мира, невидимого и туманного, в котором и краски были другие, как будто сверх тех, что есть в мире этом, и тишина такая, какой здесь не бывает. По временам он слышал, как движется по лесу и уходит в лес же некая музыка, но только стоило мелодии умолкнуть, и он тут же ее забывал; а однажды в полуденной глубокой тишине он услышал звук, похожий на звон и лязг великого множества мечей, и звук этот длился без перерыва очень долго. А уже на самой грани

ночи, когда всходила луна, озеро преображалось вдруг в огромные наклонные ворота из серебра, украшенные дорогими камнями; и сперва там было тихо, а потом ему слышались, едва-едва, будто бы очень издалека, причитания, и плач, и испуганный какой-то смех, заглушаемый порывом ветра, и сонмище бледных призрачных рук витало над водой и манило его к себе.

Однажды вечером, в пору сбора урожая, он сидел у воды и думал о всем том великом множестве тайн, которые хранит это озеро, и эти горы тоже, и внезапно с южной стороны до него донесся будто бы чей-то крик, и этот крик сперва был очень тихим, но постепенно становился все отчетливей и громче, и вместе с ним длиннее становились тени от камыша, и совсем немного времени спустя он смог уже разобрать слова: «Я прекрасна, я прекрасна. И птицы небесные, и мотыльки в траве, и мухи над водой — все смотрят на меня, потому что никогда они не видели такой, как я, красивой. Я молодая, я молодая: гляньте, горы, на меня; гляньте, леса дремучие; ведь тело-то мое сиять останется, как чистая вода, а вы иссохнете, вы сгинете, а я останусь. И вы, племя людское, и племя звериное, и рыбье племя, и племя крылатое, с вас каплет, и оплываете вы, как догоревшая свеча. А я смеюсь над вами, потому что молодость моя со мной». Время от времени голос срывался и затихал, как будто от усталости, но потом появлялся снова, и всякий раз слова были одни и те же: «Я прекрасна, я прекрасна...»

Наконец кусты у самой кромки озера зашевелились, из них на прогалину с большим трудом выбралась старуха, древняя как смерть, и медленно, на каждом шагу запинаясь, прошла у Ханрахана за спиной. Лицо у нее было цветом что старая зола, и такое уж сморщенное, что и представить трудно, редкие седые волосы висели клочьями, а одета она была как будто в одну сплошную прореху, сквозь которую видна была ее темная, задубевшая от старости и от непогоды кожа. Она

прошла мимо него, уставясь в одну точку широко раскрытыми глазами; голову она держала высоко, а руки, как плети, висели неподвижно вдоль тела; она прошла и побрела куда-то к западу, в тень горы.

Что-то похожее на страх шевельнулось в душе Ханраhana, как только он ее увидел и узнал в ней некую Винни Бирн с Перекрестка, побирушку, которая ходила из деревни в деревню, и все с одной и той же песней; а еще он слышал, что когда-то она слыла мудрейшей из мудрых и со всей округи женщины шли к ней, чтобы спросить совета, а голос у нее был такой, что люди издали, бывало, приезжали, чтобы послушать, как она поет на свадьбе или на похоронах; и что однажды вечером, много лет тому назад, под самый Самайн она уснула на горе, на краю рата, и видела во сне слуг королевы Ахтга, и вот они-то, *другие*, великие сиды, и похитили у ней разум.

Она скрылась в зарослях на склоне горы, и речитатив ее «Я прекрасна, я прекрасна» слышался теперь откуда-то сверху, как будто с самого что ни на есть со звездного неба.

Налетел, зашуршал камышами холодный ветер, Ханрахан передернулся дрожью и встал, чтобы пойти и поискать поблизости какой-нибудь приличный дом, где в очаге успели бы уже развести добрый и жаркий огонь. Но вместо того чтобы идти, как обычно, под гору, он пошел зачем-то вверх, по едва заметной выбитой в траве ложбине — то ли дороге, то ли руслу пересохшего ручья. Шел он в ту же самую сторону, что и Винни, и вспомнил в конце концов, что ложбина эта вела прямо к маленькой полуразвалившейся лачужке, где Винни останавливалась на ночь, когда она вообще останавливалась на ночь. Он шел вверх по склону, медленно переставляя ноги, так, словно нес на спине тяжелую поклажу, и в конце концов увидел по левую руку огонек; он подумал, что это, верно, и есть лачуга

старой Винни Бирн, и свернул налево, чтобы срезать к ней дорогу.

Небо затянулось тучами, не видно было ни зги, и не успел Ханрахан сделать нескольких шагов, как остутился и упал в дренажную канаву; выбраться-то он, конечно, выбрался, цепляясь за вересковые тугие корни, но ударился жестоко, и больше всего ему хотелось теперь не идти никуда, а лечь прямо здесь, у канавы, и отлежаться. Куражу у него, однако, всегда было через край, и он, пусть через силу, пусть вымучивая каждый шаг, добрел-таки до хижины Винни Бирн, у которой даже и окна-то не было, а свет падал прямо через раскрытую настежь дверь. Он хотел было войти и передохнуть с дороги, но, подойдя к двери, не увидел внутри никакой Винни Бирн, а увидел он четырех старух, седых и страшных, которые играли в карты, и Винни меж ними не было.

Ханрахан сел тогда на кучу торфа возле двери, потому что устал он до самого мозга костей и сами эти кости болели все до одной, и потому он был не в настроении сейчас ни балагурить, ни играть, скажем, в карты. Он слышал, как женщины говорили между собой и всякий раз называли пришедшие к ним на игру масти. А потом ему стало казаться, что говорят они все те же самые слова, что и тот странный старик в амбаре, много лет назад: «Пики и Бубны, Смелость и Власть; Трефы и Червы, Знание и Радость». И он стал повторять эти слова про себя, раз за разом; и сон то был или явь, но боль в плече не отпускала.

Немного времени спустя старухи в лачуге стали ссориться между собой, и каждая твердила, что другие играют нечисто, и голоса их становились все громче и громче, покуда весь воздух и внутри, и снаружи, и даже над крышей дома не стал полон их криков и проклятий; и тогда Ханрахан, который сам уже не знал, бодрствует он или бредит, сказал: «Так ссорятся обычно

над телом умирающего доброжелатели его и недруги. Хотел бы я знать, — сказал он еще, — кто это тут, в этой глуши, сподобился вдруг помереть».

Наверное, он все ж таки уснул и проспал довольно долго, потому что когда он открыл глаза, то увидел прямо перед собой древнее сморщенное лицо старой Винни с Перекрестка. Она глядела пристально, так, словно хотела удостовериться, что он живой и не помер; а потом она отерла у него с лица мокрой тряпкой присохшую за ночь кровь, перетащила его чуть не волоком в дом и уложила на кучу тряпья, которая служила ей ложем. Она дала ему пару картофелин из стоявшего на огне котелка и, что было много лучше всякой еды, кружку свежей родниковой воды. Ханрахан то и дело проваливался в сон, а потом просыпался и слышал, как Винни ходит по дому и поет себе под нос, и снова засыпал; и так прошла ночь.

Когда небо начало светлеть и занялась заря, он нащупал на поясе свой кисет с деньгами и протянул все, что там было, ей; она взяла одну серебряную монету и одну медную, но тут же и выронила их, словно деньги ничего для нее не значили; может, потому, что деньгам она просто не привыкла и кланчила обыкновенно еду да старое тряпье; а может, потому, что наступающее утро преисполнило ее великой гордостью и верой в собственную юность и красоту. Она вышла, принесла две-три охапки свежесрезанного вереска, навалила их на Ханрахана сверху, сказала что-то смутное насчет утренних осенних холодов, и, пока она все это делала, он разглядывал морщины на ее лице, и спутанные, изжелта-седые волосы, и черные зубы во рту, которых осталось-то у нее через два на третий. Укрывши его как следует вереском, она вышла вон, и Ханрахан услышал, как она выкрикивает, спускаясь вниз по склону, обыкновенное свое «Я прекрасна, я прекрасна», и голос ее становился все тише, покуда вовсе не утих вдали.

Ханрахан пролежал так весь день, слабый как младенец, чувствуя только боль во всем теле; а когда вчерело, он снова услышал, как голос Винни Бирн поднимается вверх по склону горы; она пришла, сварила несколько картофелин и разделила их с ним поровну, совсем как вчера.

День уходил за днем, и Ханрахану все тяжелее становилось удерживать гнетущую ношу собственного тела. Но чем слабее он делался, тем отчетливей ощущал присутствие в комнате иных существ, куда как более могущественных, чем он, и чувствовал, что с каждым днем их становится все больше; а еще ему казалось, что вся сила мира сосредоточена в невидимых этих существах, и стоит им только захотеть, и одним движением руки они проломают огненную стену боли, которую этот мир воздвиг вокруг него, и заберут его в свой, добрый, мир.

Иногда он слышал даже голоса — то сверху, со стропил, то из очага, из самого пламени; а то весь дом переполнялся вдруг музыкой, и музыка текла, сочилась сквозь стены, неудержимая, как ветер. А потом пришла такая слабость, что даже и боли не осталось больше места, и вокруг него воцарилась великая тишина, как будто на самой середине озера, и сквозь нее, как слабый свет далекого костра в ночи, слышны были счастливые и звонкие голоса, уже без перерыва.

Однажды утром Ханрахан услышал за порогом музыку, и к вечеру эта музыка стала настолько громкой, что заглушила не только далекие, полные радости и смеха голоса, но даже и обычный речитатив Винни Бирн, поднимавшейся на закате вверх по склону. Где-то ближе к полуночи в один-единственный миг стены хижины как будто растаяли, и ложе его оказалось окруженным со всех сторон туманным светом, неярким, лившимся легко и ровно ниоткуда и отовсюду сразу, так далеко, как только мог видеть глаз; а когда глаза его привыкли к этому свету, он увидел, что повсюду

вокруг снуют огромные, неясных очертаний фигуры. Музыка приблизилась и стала вдруг слышна совершенно отчетливо; и тут Ханрахан понял, что это не музыка, а все тот же самый лязг великого множества мечей. «Я уже помер, — сказал он, — и теперь я в самом сердце великой музыки сфер. О, Серафимы с Херувимами, примите душу мою!»

Как только он произнес эти слова, вся ближняя к нему часть света озарилась искрами света еще более яркого, и он увидел, что все это острия мечей, направленных ему прямо в сердце; а потом внезапная вспышка пламени, горящего, как Божия любовь или как гнев Божий, стерла весь свет, как не было его, и исчезла, и он остался во тьме.

Поначалу он вовсе ничего не видел, потому что темно было так, словно он очутился вдруг темной ночью в самой середине черной болотной топи, но потом опять вдруг вспыхнул огонек, как будто бросили на торф зажженный соломенный жгут. И пока он приглядывался к свету, перед ним возник закопченный котелок на крючке над очагом, и плоский серый камень, на котором Винни пекла иногда ячменные лепешки, и большой ржавый нож, которым она резала вереск, и длинная терноватая палка, которую сам он в этот дом принес. И как только Ханрахан увидел эти четыре вещи, ему вдруг вспомнилось что-то невероятно важное, о чем он должен был бы помнить, да вот забыл. Он сел на ложе своем и сказал голосом громким и ясным: «Котел, Камень, Меч, Копье. Что они значат? Чьи они? На этот раз я задал свой вопрос».

И тут же упал навзничь, потерявши последние силы, а с ними и дыхание свое.

Винни Бирн, которая возилась у очага, подошла к нему, глядя пристально, не отрываясь; и тихие радостные голоса снова принялись гомонить в отдалении, и дымчатый серый свет огромною волной захлест-

нул вдруг хижину под самую крышу; и Ханрахан так и не понял, из какого такого потаенного царства пришла эта волна. Он увидел над собой сморщенное лицо Винни Бирн и сморщенные старческие руки, серые, как размятые в руках комья сухой земли, и из последних сил отодвинулся от нее подальше к стене. А потом из заскорузлых от грязи лохмотьев к нему протянулись вдруг совершенно другие руки, белые и легкие, как пена на реке, и обняли его, и голос, который слышен был ему отчетливо и ясно, но пришел будто бы из немыслимого далека, прошептал:

— Ты не станешь больше искать меня в объятиях женщин.

— Кто ты такая? — спросил Ханрахан.

— Я из живущих долго, из Голосов, не знающих усталости, и с ними вместе прихожу я к тем, кто сломлен, кто умирает и кто лишится вдруг рассудка; я пришла за тобой, и теперь ты будешь мой до той поры, пока мир не догорит как свечка. Посмотри-ка вверх, — сказала она, — вот уже зажгли жгуты для нашей свадьбы.

И он увидел, что дом заполнен весь сонмищем призрачных белых рук, и каждая держала вроде как соломенный зажженный будто бы и впрямь для свадьбы жгут, а у некоторых были толстые белые свечи, как по покойнику.

Когда наутро встало солнце, Винни Бирн с Перекрестка поднялась с того места, где она просидела всю ночь над мертвым телом, и отправилась вниз, от деревни к деревне, выкрикивая в голос все те же самые слова: «Я прекрасна, я прекрасна. И птицы небесные, и мотыльки в траве, и мухи над водой — все смотрят на меня, потому что никогда они не видели такой, как я, красивой. Я молодая, я молодая: гляньте, горы, на меня; гляньте, леса дремучие; ведь тело-то мое сиять останется, как чистая вода, а вы иссохнете, вы сгинете, а я останусь. И вы, племя людское, и племя звериное,

и рыбье племя, и племя крылатое, с вас каплет, и оплываете вы, как догоревшая свеча. А я смеюсь над вами, потому что молодость моя со мной».

Однако же ни в эту ночь, ни в какую другую домой она так и не вернулась, и только двумя днями позже резальщики торфа, которые по дороге на болото проходили случайно мимо хижины, обнаружили в ней тело Рыжего Оуэна Ханрахана и собрали мужчин, чтобы сидеть с ним, и женщин, чтобы его оплакать, и устроили ему похороны, достойные такого, как он, великого поэта.

Сокровенная Роза

Распятие изгоя

Непрямой, извилистой дорогой, что ведет с юга к городу Слайго, не то шел, не то бежал человек с редкими русыми волосами и бледным лицом. Иные звали его Кумал, сын Кормака, иные — Быстрый Дикий Конь, и был он глимен, и были на нем короткий, в два цвета кроенный дублет, и остроносые башмаки, и тугая котомка в придачу. Самая чистая ирландская кровь текла в его жилах, и местом рождения своего он называл Златое Поле; и находить себе стол и кров он привык по всем пяти пятинам Эрина, и дома не было ему до самого края земли.

Он глянул походя на башню монастыря Белых Братьев, который не был еще в те годы монастырем Белых Братьев, а потом — на долгий ряд крестов на холме, чуть к востоку от города, и сжал кулак, и погрозил крестам рукой. Он понял: кресты не просто так стоят, ибо вились над ними птицы; и он подумал: ведь не иначе на одном из них висит такой же, как и он, бродяга; и сказал себе под нос: «Ничего нет хорошего, коли вздернут тебя, или удавят тетивою лука, или побьют камнями, или отрубят голову. Но чтобы птицы клевали тебе глаза, а волки глодали ноги! Пусть бы лучше красный ветер друидов иссушил в колыбели того воина Датхи, что принес к нам из варварских стран это дерево смерти, или молния, поразившая Датхи у подножия горы, пусть поразила бы она и его заодно,

или выкопали бы ему могилу зеленоволосые зеленозубые водяные где поглубже, у самого у корневища моря».

Он говорил, и пока он говорил, дрожь пробрала его от головы до самых пят, и на лбу его выступил пот, и он не понял сам, почему так случилось, ибо множество крестов видел он на своем веку.

Позади остался холм, потом еще один, потом ворота в каменной стене с бойницами, он свернул налево и оказался перед монастырской дверью, сплошь усеянной — для крепости — шляпками больших гвоздей. Он постучал; на стук проснулся брат-белец⁹⁴, монастырский привратник, и он попросил привратника пустить его в гостевую переночевать. И брат-белец подцепил совком немного тлеющего торфа и повел его в большой и неприютный флигель, крытый грязным камышом; и зажег торчавшую в стене меж двух камней лучину, и бросил торф в очаг, и дал ему еще две незажженные дернины и соломенный жгут, и показал ему одеяло, висевшее на гвозде, и на полке хлеб и кувшин с водой, и в дальнем углу лохань. А после брат-белец оставил его одного и вернулся на место свое подле двери.

А Кумал, сын Кормака, принялся что было силы дуть на тлеющий торф, чтобы поджечь соломенный жгут и две другие дернины; но ни дернины, ни жгут загораться никак не хотели, потому что были они насквозь сырые. Тогда скинул он с ног остроносые свои башмаки и вытащил из угла лохань в надежде отмыть от ног своих дорожную пыль; но так грязна оказалась в лохани вода, что даже и дна он не смог разглядеть. Он был голоден, и весьма, ибо не ел он с самого утра, а посему не стал расточать свой гнев на грязную лохань, а потянул с полки ржаной хлеб и откусил кусок, но тут же выплюнул откушенное на пол, потому как был тот хлеб плесневелым и черствым. Даже и тут не стал он давать

⁹⁴ Мирянин, соблюдающий монастырский устав и готовящийся принять постриг.

воли гневу, ибо в горле у него пересохло; надеясь на кружку доброго меда или вина в конце дня, он и глотка не выпил из придорожных ручьев — чтобы слаще был ужин. Он поднес ко рту кувшин — и тут же отшвырнул его прочь, потому что вода в нем протухла и на вкус была горькой. Потом он пнул кувшин ногой, да так, что тот разбился о каменную стену, и снял с гвоздя одеяло, чтоб завернуться в него на ночь. Однако же едва он дотронулся до одеяла рукой, как ожило оно сплошь от великого сонмища блох. Тогда, вне себя от гнева, кинулся он было к двери, но брат-белец, привычный к такого рода вспышкам, запер ее снаружи; и выплеснул он тогда из лохани грязную воду, и принялся стучать лоханью в дверь, и стучал до тех пор, пока брат-белец не пришел к его двери и не спросил, что тревожит его и почему он не дает-де людям спать.

— Что меня тревожит? — вскричал Кумал, сын Кормака. — Или дернины твои не пропитаны влагой насквозь, как пески во всех трех Россесах разом? И разве блох в твоём одеяле не столько же, сколько в море волн, и не пляшут они так же споро? а хлеб, неужто не черствее он сердца монаха, забывшего Бога своего? и неужто вода в кувшине горечью своей и вонью уступит нечестивой его душе? а вода для омовенья ног, не того ли она самого цвета, какого станет он сам, когда поджарят его в геенне огненной?

Брат-белец проверил, надежно ли заложен запор, и воротился на свое место при дверях, ибо так хотел он спать, что беседа не была бы сейчас ему в радость. Кумал же, сын Кормака, стучал и стучал себе в дверь, покуда вновь не услышал шаги привратника, и тогда он крикнул:

— О монахи, племя трусливое и жестокое, гонители бардов и глименов, ненавистники жизни и радости! О племя, что не обнажает меча и никогда не скажет слова правды! О племя, трусостью и коварством рожденное и поражающее паству свою!

— Глимен, — сказал ему брат-белец, — и я умею говорить складно; и сам сложил я множество стихов, сидя при дверях обители сей; и горько мне слышать, когда клянут монахов барды. Брат мой, я хочу спать, а посему скажу тебе, что всем касательным до содержания и ночлега путников распоряжается у нас глава монастыря, милостивый наш аббат.

— Ты можешь спать, — сказал тогда Кумал. — А я спою аббату песнь поношения, как то делают барды.

И он поставил под окном перевернутую вверх дном лохань, встал на нее обеими ногами и стал петь голосом громким и зычным. Пение его разбудило аббата, который сел на своем ложе и дул в серебряный свисток, покуда не явился к нему брат-белец.

— Я глаз не мог сомкнуть, — сказал аббат, — от шума. Что там такое происходит?

— Это глимен, — ответил брат-белец, — ему не нравится торф, и хлеб, и вода в кувшине для питья, и вода в лохани для омовения ног, и одеяло. И вот теперь он поет песнь поношения, как это делают барды, на батюшку вашего с матушкой, и на деда вашего с бабкою, и на весь ваш род.

— И что, поет-то он — в стихах?

— Поет в стихах, и с двумя ассонансами в каждой строчке.

Аббат сдернул ночной свой колпак и скомкал его обеими руками, и на бритой его голове кружок седых волос был похож на белый каирн на горе Нокнарей, ибо в Коннахте монахи не забыли еще в ту пору древнего обычая выбривать тонзуру.

— Надо нам что-то с ним делать, — сказал он, — а не то он научит этой песни проклятия всех уличных мальчишек, и девчонок, сплетничающих у дверей, и разбойников на склонах Бен-Балбена.

— Не пойди ли мне в таком-то разе, — спросил брат-белец, — и не дать ли ему сухого торфа, свежего

хлеба, кувшин свежей воды, чистой воды для ног его и новое одеяло, и взять бы с него слово, чтоб поклялся он святым Бенигнусом, да и солнцем с луною, на всякий уж случай, что не станет он учить стихам своим ни уличных мальчишек, ни девчонок, сплетничающих у дверей, ни разбойников на склонах Бен-Балбена?

— Ни благословенный отец наш покровитель, ни солнце с луною нам тут не в помощь, — промолвил на это аббат, — потому как не завтра, так на следующий день придет ему снова охота ругаться, или же гордость за сложенные строки развяжет ему язык, и все одно стихи его дойдут до ушей мальчишек, и девчонок, и разбойников. Или, еще того лучше, расскажет он другому такому же, как он, как принимали его на нашем гостинном подворье, и тот уже начнет нас клясть, и имя мое станет притчею во языцех. Ибо знай: непостоянны помыслы бредущих по дорогам, но только тех, кто под кровлею и в четырех стенах. А посему велю тебе — ступай и разбуди от сна Брата Кевина, Брата Голубя, Брата Маленького Волка, Брата Лысого Патрика, Брата Лысого Брендона, Брата Джеймса и Брата Петра. И пускай возьмут они человека сего, и свяжут веревками, и макнут его в реку, чтобы перестал он петь. А наутро, чтобы не стал он оттого только злее проклинать нас, мы его распнем.

— Все кресты заняты, — сказал брат-белец.

— Значит, надо будет сделать новый крест. Все едино — коль не мы его прикончим, так кто-нибудь другой, ибо кто же может есть и спать спокойно, когда бродят по дорогам подобные ему? Как станем мы пред лице блаженнаго святаго Бенигнуса, и горечь будет на лице его в день Страшного суда, когда приидет он судить нас, грешных, ежели упустим мы врага его, когда были на нем уже наши руки! Брат мой, ни единого нет среди бардов этих и глименов, кто не плодил бы ублюдков по всем по пяти королевствам, а коли придется им срезать мошну или вспороть человеку глотку, а уж

без того либо другого ни один из них не обошелся, им даже и в голову не придет исповедаться в церкви и покаяться во грехах своих. И кто из них не язычник, томящийся вечно по сыну Лера⁹⁵, и по Энгусу⁹⁶, и по Бригите⁹⁷, и по Дагда⁹⁸, и по Матери Дану⁹⁹, и по всем этим ложным богам языческих древних времен; и всегда-то слагают они песни хвалы в честь демонских этих царей и цариц: Финвары, чей дом под холмом Круах-маа, и Ида Красного из Нок-на-Ши, и Клийны¹⁰⁰, матери одной из «волн», и Ийбен¹⁰¹ из Серой Скалы, и того, кого зовут они Донном¹⁰², что значит Бурый, Хозяином Стад Морских; и ругают Господа нашего, и Сына его, и всех блаженных с ним святых?

Он говорил и осенял себя то и дело крестным знаменем, а договорив до конца, натянул колпак свой на самые уши, чтобы не слышать ничего, и закрыл глаза, и устроился спать.

Брат-белец нашел Брата Кевина, Брата Голубя, Брата Маленького Волка, Брата Лысого Патрика, Брата Лысого Брендона, Брата Джеймса и Брата Петра сидящими на постелях и поднял их. Потом они связали Кумала, и отнесли его к реке, и окунули его в воду в том самом месте, которое стали называть потом Ивовым бродом.

⁹⁵ Мананнан, древнеирландский бог моря и островного по-тустороннего мира. См. также примеч. 7.

⁹⁶ Ирландский бог любви, поэзии и всяческого озарения вообще. См. примеч. 40.

⁹⁷ Одна из ирландских богинь, впоследствии — католическая святая.

⁹⁸ Ирландский бог плодородия.

⁹⁹ Мифическая мать племени ирландских богов.

¹⁰⁰ Ирландская богиня, покровительница одной из «волн», заселивших Ирландию.

¹⁰¹ Одна из королев ирландских фэйри, сидов, обитающая в скале Каррэг-Лит.

¹⁰² Аббат, очевидно, не слишком силен в древнеирландском эпосе, ибо к «демонским», т. е. фэйри, царям и царицам относит не только богиню, но и быка, Бурого из Куальнге, предмет ульстерской книги «Красной ветви».

— Глимен, — сказал брат-белец, когда они вели его обратно в гостевую, — зачем прикладывать разум, данный тебе Господом в милости его, к тому, чтобы слагать кощунственные, бесстыжие стихи и сказки? Ибо такова и есть самая суть твоего ремесла. Я и сам великое множество подобных же стихов и сказок помню чуть не наизусть и оттого знаю, что говорю я истинно! И почему восхваляешь ты, да еще в стихах, всех этих бесов: Финвару, Ида Красного, Клийну, Ийбен и Донна? И сам я человек немалого ума и учености немалой, но славословлю я всегда прежде прочего милостивого нашего аббата, и Бенигнуса, святого покровителя этих стен, и окрестных князей земных. Моя душа в умеренности и покое, твоя же — как ветер в сумеречном саду. Сегодня и перед отцом аббатом я говорил за тебя, сколько мог, ибо человек я мыслящий, но кто же в состоянии помочь таким, как ты?

— Друг, — ответил глимен, — душа моя и впрямь подобна ветру, и носит меня взад-вперед, то вверх, то вниз, и многое приходит мне на ум, и многое исчезает бесследно, оттого-то и зовут меня Быстрый Дикий Конь.

И больше он в ту ночь не промолвил ни слова, потому что зубы у него стучали от холода.

Аббат и монахи пришли к нему утром, и велели готовиться к смерти, и повели со двора. И пока он стоял на пороге, журавлиная стая с курлыканьем пролетела у него над головой, высоко в синем небе. Он поднял к небу руки и сказал: «Постойте, журавли, погодите, может статься, и моя душа поспеет за вами следом, на пустынный на берег, к вольному морю!»

У ворот окружили их нищие, сходящиеся по утрам, чтобы поклянчить Христа ради у путника или же пилигрима, который заночевал, глядишь, в гостевой. Аббат и монахи отвели его в лес, подальше, где росли в изобилии стройные молодые деревья, и заставили срубить одно и срезать верхушку до нужной длины, а нищие

стояли тут же, кругом них, переговариваясь и размахивая руками. Потом аббат велел ему вырубить еще одну лесину, покороче, и прибить гвоздями к первой. Вот и вышел ему крест; и они взвалили крест на плечи ему, ибо распять его надлежало на вершине холма, где распинали прочих.

Они прошли с полмили, и он их попросил остановиться, чтобы взглянуть на фокусы, которые он-де им покажет, потому как ведомы ему — он так сказал — все трюки Энгуса Нежного Сердцем. Те монахи, что постарше, стали было гнать его дальше, но молодым охота была посмотреть; и он показал им множество чудес, и даже лягушат вытаскивал прямо у них из ушей. Но сколько-то времени прошло, и они напустились на него и сказали, что фокусы его скучны и даже, ежели рассудить, нечестивы, и опять взвалили крест ему на плечи.

Еще полумилею позже он снова стал просить передышки, чтобы услышали они смешные шутки; мол, знает он все шутки самого Конана Лысого, у коего на спине росла овечья шерсть. И молодые монахи, когда рассказал он им байки свои, опять велели ему тащить в гору крест, потому как не подобало им слушать всяческую глупость.

Еще полумилею позже он придумал им спеть повесть о Дейдрде, чьи груди белее были снега, о том, как претерпела она многие скорби и как погибли за нее сыновья Уснеха. И молодые монахи слушали его с горящими глазами, но, когда подошла его повесть к концу, озлились они и стали бить его за то, что пробудил в их душах давно позабытую жажду. И взгромоздили они крест обратно на спину ему, и погнали его дальше в гору.

Когда же взошел он на самый верх горы, сняли они с него крест и принялись копать яму, чтоб утвердить в земле опору, а нищие стояли кругом и промеж собой говорили.

— Пока я жив, — говорит аббату Кумал, — окажите мне последнюю милость.

— Довольно было тебе отсрочек, — отвечает ему аббат.

— Я не прошу отсрочки. Я вынимал из ножен меч, и говорил правду, и мечты мои были явью — так чего мне еще.

— Так, может быть, ты хочешь исповедаться?

— Ну уж нет, клянусь луной и солнцем; я прошу только, чтоб дали мне время съесть то, что лежит у меня в котомке. Я всегда беру еду с собой в дорогу, но и куска не съем от взятого, если только не станет мне совсем уж голодно и плохо. А я уже два дня как не пил ничего и не ел.

— Тогда поешь, пожалуй, — говорит ему аббат; и отвернулся он, чтобы помочь монахам копать в земле яму.

Глимен вынул из котомки хлеб, вынул холодный окорок, нарезанный полосками поперек, и разложил на земле. «Хочу, — говорит, — я дать десятину бедным, — и он отрезал по десятой части от хлеба и от окорока тоже. — Кто между вами беднее всех?»

И поднялся тут гвалт, и каждый нищий завел рассказ о бедах своих и несчастьях, и желтые их лица закачались, как воды озера Габра, когда хлынули в него мутные воды с болот. Слушал он их, но недолго, а потом и говорит: «Я беднее всех вас, ибо шел я пустою дорогой вдоль берега моря; и жал мне плечи ветхий мой, в два цвета дублет, и остроносые башмаки мне жали ноги, и жег мне сердце Град о многия башни, убранный богато. И одинок я был в пути моем на дороге, и одинок у моря, и пуще одинок оттого, что слышал в сердце моем шорох розами шитого платья той, что нежнее Энгуса, и веселит, и радует душу сильнее, чем все шутки Конана Лысого, и мудростию слез полна вкрай, полнее, чем Дейрдре, и прекраснее зари, когда плеснет она в глаза блуждающим во тьме. А посему

я присуждаю десятину себе; но раз уж рассчитался я отныне со всеми и вся, что ж, берите». И бросил он хлеб и мясо нищим, и орали они и дрались, покуда не съедена была последняя крошка.

Тем временем монахи прибили глимена к кресту гвоздями, и утвердили крест в земле, и засыпали яму, и утоптали землю вокруг, чтобы стала она ровной и твердой. И пошли они прочь, но нищие остались и сели вокруг креста.

Когда, однако, солнце стало клониться к закату, поднялись и нищие, ибо воздух похолодал. И как только они отошли, волки, давно уже мелькавшие по краю ближней рощи, оказались вдруг совсем рядом и птицы кружили все ниже и ниже. «Останьтесь, изгои, повремените еще чуть-чуть, — так распятый обратился к нищим, голосом дрожащим и слабым, — отгоните от меня зверей и птиц». Но нищие разозлились на него за то, что он назвал их изгоями, и принялись швырять в него камни и грязь; а одна нищенка, на руках у которой был ребенок, подняла ребенка так, чтобы он видел, и сказала, что он ребенку этому отец, и ругала его; и потом они ушли. Тогда волки собрались у подножия креста и птицы спустились низко.

А потом все птицы разом опустили на голову ему, на руки и плечи, и принялись его клевать, а волки — глотать ему ноги. «Изгои, — простонал он. — Неужто и вы теперь против изгоя?»

По ту сторону Розы

Однажды ранним зимним вечером по южному, поросшему лесом склону Бен-Балбена ехал не спеша некий рыцарь, старый и в заржавленной кольчуге, и глядел, как садится сквозь кармазинового цвета облака над морем солнце. Конь его еле шел, как после долгого

и трудного пути, а на шлеме, вместо привычного здесь знака кого-нибудь из местных лордов или королей, взблескивала, что ни миг — все более глубоким кармазинным тоном, маленькая, из рубинов набранная роза. Серые волосы редкими прядями рассыпались по его плечам, и беспорядок этот шел к сосредоточенному и вместе отстраненному выражению лица: такие лица редко являются в сей мир, и всякий раз не к благодати его и не к покою; се сновидцы, привыкшие сны свои делать явью, и воплощатели, коим дела их грезятся.

Поглядев на солнце, он бросил повод, протянул к западу руки и сказал: «О Божественная Роза, Пламя Чистое, открой мне наконец врата покоя твоего!» И тут из леса, отстоявшего от него где-то на четверть мили вперед по склону горы, раздался вдруг громкий визг. Он остановил коня и тут же услышал — на этот раз за спиной — топот ног и голоса.

— Это они их лупят, гонят их по просеке в лошину, — донеслась отчетливая фраза, и с ним поровнялись крестьяне, с дюжину примерно, с короткими копьями в руках, и стали поодаль, комкая в руках свои синие шапки.

— Куда вы идете с копьями? — спросил рыцарь; и тот, кто был у них за жоака, ответил:

— Шайка лесных разбойников спустилась с горы, днем еще, и они угнали свиней у одного старика с озера Глен-Кар, а мы пошли было вдогонку. Но только их, выходит, против нас раза в четыре больше, и мы за ними идем теперь, только чтобы узнать к ним дорогу; потом пойдем и скажем де Курси, а ежели он нам не поможет, так Фицджеральду, потому как де Курси с Фицджеральдом с недавних пор в мире, а мы теперь и не знаем даже, чьи мы.

— Но ведь свиней-то за это время, — сказал им рыцарь, — разбойники успеют съесть.

— А что еще мы можем сделать, с дюжиной-то копий? Да и то сказать, не подниматься же всей долине,

не бегать по лесам, не рисковать своей шкурой ради двух несчастных чушек — да хоть бы и ради двух дюжин.

— Скажите мне, — спросил у них рыцарь, — тот старый человек, которому принадлежат эти свиньи, он что — благочестив и помыслы его чисты?

— Почище прочих будет, а если насчет благочестия, так этого хоть отбавляй, потому что каждое утро, прежде чем сесть за стол, он творит молитву святому.

— Значит, правильно будет с моей стороны, если я встану на его защиту? — сказал рыцарь. — И если станете вы вместе со мной биться с лесными этими разбойниками, я обещаю взять на себя основную часть битвы — вы же сами знаете, что человек в доспехах один стоит в бою множества таких вот бандитов, одетых только лишь в шерсть и кожу.

Вожак обернулся к своим и спросил, рискнут ли они ввязаться с разбойниками в драку; те же выказали волю вернуться поскорее домой, к своим хижинам.

— А эти ваши лесные разбойники, вероломны они и нечестивы?

— Да они только и делают, что обманывают и грабят, — сказал крестьянин, — и никто еще не видел и не слышал, чтобы они молились.

— Тогда, — сказал рыцарь, — я дам по пять крон за каждую голову, за каждого разбойника, убитого нами в бою, — и он велел вожаку указывать путь, и дальше они отправились вместе.

Чуть времени спустя дорога свернула в лес и повела их едва ли не вспять, поднимаясь вверх по лесистому склону горы. Они прошли еще немного; дорога шла прямо и сделалась очень крутой, и рыцарю пришлось спешиться и привязать коня к дереву. Они знали, что идут они верно, потому что попадались им то и дело следы востроносых башмаков, впечатанные в сырую глину, и, попеременно с ними, раздвоенные следы сви-

ных копытец. Потом подъем стал совсем крутым, и они поняли, что разбойники с этого места потащили свиней на себе, ибо свиных следов больше не было. Порой попадалась им длинная отметина, полоса свезенной глины — здесь свинья соскользнула с плеч, и какое-то время ее тащили волоком.

Так они шли минут двадцать, а потом, услышавши впереди неразличимые за дальностью голоса, поняли, что нагнали воров. А потом голоса смолкли, и они поняли, что и их, в свою очередь, услышали тоже. Они пошли еще быстрее, вглядываясь на ходу в заросли по сторонам, и минут через пять один из крестьян заметил, как в орешнике мелькнула кожаная куртка.

Стрела ударилась о рыцарскую кольчугу и отскочила, а затем целый ливень стрел обрушился на них из зарослей. Они бежали, они карабкались вверх, они карабкались и снова бежали туда, где стояли между кустов разбойники, которых видно было теперь всех до единого, и луки еще дрожали у них в руках: у крестьян были одни только копья, и потому они должны были сойтись вплотную как можно быстрее.

Рыцарь бежал впереди, и сразу же сшиб с ног первого встречного разбойника, а за ним еще одного. Крестьяне крикнули все разом, и с ходу погнали разбойников перед собой, и гнали их, покуда не достигли плоской вершины горы; там они увидели пару свиней, которые рылись себе в короткой густой траве, и тогда они окружили свиней полукольцом и погнали их назад к узкой просеке; старый рыцарь шел теперь последним, сшибая наземь одного разбойника за другим.

Из крестьян никто всерьез не пострадал, ибо рыцарь и впрямь взял на себя основную часть боя, как то видно было и по кровавым прорехам на ржавой его кольчуге; и когда они добрались до начала просеки, он велел крестьянам гнать свиней обратно в долину, а он-де останется их прикрывать. Не успел он закончить

фразы, как остался один, и его, ослабевшего от потери крови, неминуемо прикончили бы лесные разбойники, когда бы не ударились они, перепуганные вусмерть, бежать со всех ног.

Минул час, и никто не вернулся; рыцарь не мог уже больше стоять на страже, и пришлось ему лечь на траву. Прошло еще полчаса, просекою вышел на прогалину молоденький парнишка в странной шапке, сплошь утыканной по кругу петушиными вроде бы перьями; и принялся он ходить среди мертвых разбойников и отрезать им головы. Потом сложил головы кучей возле рыцаря и сказал:

— О великий воин, мне велели прийти к тебе и спросить с тебя деньги, которые ты обещал за эти головы: по пяти крон за штуку. Они велели еще передать тебе, что они молятся Богу и Матери Его, чтоб даровали они тебе долгую жизнь, но что они, мол, бедные крестьяне и хотели бы получить свои деньги, покуда ты не помер. Они повторяли мне это много раз подряд, все боялись, чтобы я не забыл передать тебе в точности, и обещались прибить меня, ежели я все ж таки забуду.

Рыцарь приподнялся на локте и, открывши кошель, который у него висел на поясе, отсчитал по пяти крон за голову. А было там ровным счетом тридцать голов.

— О великий воин, — сказал парень, — а еще они велели мне о тебе позаботиться, и разжечь для тебя костер, и приложить к твоим ранам эту вот мазь.

И собрал он в кучу листьев, палок и, ударивши о кремень кресалом, развел веселый костерок. Затем снял с рыцаря кольчугу и стал накладывать на раны ему целебную мазь; но делал он это неловко, как человек, который выучил каждое движение наизусть, но что он, собственно, делает, так и не понял. Рыцарь жестом остановил его и сказал:

— Ты, кажется, славный парень.

— Я бы хотел попросить у вас кое-что для себя.

— У меня еще осталось несколько крон, — сказал рыцарь, — хочешь, возьми их.

— Да нет, — сказал парень. — Мне от них не будет толку. Есть одна только вещь, которая мне мила, а на это не надобно денег. Я хожу из деревни в деревню, с горы на гору и, если вижу где доброго петуха, краду его, уношу в лес и держу там под старой корзиной, покуда не найду другого доброго петуха ему под стать, и тогда я заставляю их промеж собой драться. Люди говорят, что я как дитя малое и что вреда от меня большого нет, а потому они меня не обижают и не заставляют работать, вот разве что отправят изредка с каким поручением, вроде как сегодня. Потому-то они и послали меня взять у вас деньги: всякий другой украл бы их и взял себе; а сами они прийти побоялись, потому как теперь-то вас с ними нет, и вдруг как нападут на них разбойники. Вы ведь слышали, наверно, что когда лесных разбойников крестили, так крестными были им волки, а правая рука у каждого из них и вовсе некрещеная, слышали?

— Что ж, добрый человек, коли тебе не нужны эти деньги, боюсь, мне больше нечего тебе предложить, вот разве старую мою кольчугу, мне-то она скоро будет ни к чему.

— Нет, чего-то я еще от вас хотел, — сказал дурень. — А, вспомнил. Хотел, чтоб вы мне объяснили, почему вы дрались подобно сказочным героям и великанам, и все из-за такой-то малости. Вы и взаправду такой же, как все мы, смертный человек? А может, вы колдун, который живет тут в горах, и вот как дунет сейчас ветер, а вы и рассыпетесь в прах?

— Я расскажу тебе, — ответил рыцарь, — о том, кто я такой, ибо один я остался в живых и могу сказать ныне все и свидетельствовать перед Богом. Видишь Рубиновую Розу на моем шеломе? Вглядиись в нее, ибо

она есть символ моей жизни и веры. — И он стал рассказывать дурню свою историю, останавливаясь то и дело, чтобы набраться сил, и чем дальше, тем чаще делались паузы; и пока он говорил, дурень повиыташил из шапки петушиныные перья и принялся втыкать их перед собою в землю и переставлять, как будто бы актеров в пьесе.

«Я жил в далекой стране, и был я Рыцарем Святого Иоанна, — сказал старик. — И был я из тех членов Ордена, кто всегда искал трудов самых тягостных во службу той истине, которую постичь возможно одним лишь только сердцем — и внутри него. Наконец пришел к нам из Палестины некий рыцарь, коему Сам Господь открыл истину истин. Явлена ему была великая Роза Пламенная, и Голос из сердца Розы возвестил ему, что отвернутся люди от света в сердцах своих и склонятся перед властью и перед стылостью мира внешнего, и тогда угаснет свет и никто не избежит проклятия, за исключением человека доброго, но поврежденного в уме, ибо не сможет он рассуждать, и человека злого и страстного, ибо он рассуждать не станет. Сейчас уже, сказал ему Голос, убывает свет в сердце Розы, и с убыванием его проникла в мир зараза, порча; и никто из тех, что ясно видели истину перед лицом своим, не сможет войти в Царство Божие, которое и есть в сердце Розы, ежели останется он по своей воле в мире порченом; а потому должны они явить свой гнев против Силы Тления и умереть во службу Розе. И покуда палестинский рыцарь говорил нам это, воздух полон был благоуханьем Розы. Потому мы поняли, что это Глас Божий говорил нам через рыцаря, и мы просили его направлять нас во всех делах наших и научить, как нам исполнить волю Голоса. И он связал нас клятвою, и дал нам пароли и знаки, чтобы мы могли по ним узнать друг друга даже через много лет, и назначил места, где нам встречаться, и отправил нас, отряд за отрядом,

в мир искать благие цели и умирать за них. Поначалу мы думали, что проще всего исполним наш долг, если откажемся от пищи в честь какого-нибудь святого и так, в посту, умрем; но он объяснил нам, что помысел сей нечист, ибо мы делали бы это ради смерти как таковой и тем изъяли из десницы Божьей возможность выбора, какую смертью нам умереть, в какое время, и уменьшили бы Его власть. Мы должны в самом исполнении долга видеть цель свою, и пусть Господь Сам вознаградит нас, когда и как Ему будет угодно. И после обязал нас садиться не меньше чем по двое за стол и следить, чтобы собратья наши не постились больше положенного. Шли годы, и один за другим товарищи мои все погибли в Святой Земле, или в войнах против неправедных князей земных, или освобождая проезжие пути от разбойников; и среди них погиб палестинец, и наконец я остался один. Я дрался в каждой битве, где немногие сражались против многих, и волосы мои поседели, и в сердце поселился страх, что я впал в немилость Господню. Но, услышавши в конце концов, что западный сей остров войнами и разбоем полон через край, я пустился в путь и нашел здесь то, что искал, и вот я ныне полон великой радости».

Сказав так, принялся он петь по-латыни, и, покуда он пел, голос его все слабел и слабел и сошел понемногу на нет. Затем глаза его закрылись и разошлись сомкнувшиеся было губы, и тогда дурень понял, что рыцарь умер. «Хорошую он рассказал мне сказку, — сказал он, — потому что была в ней драка, но я много в ней чего не понял, да и трудно было бы запомнить такую длинную историю».

И, взявши у рыцаря меч, стал он копать в мягкой глине могилу. Копал он усердно и почти уже закончил свой труд, как вдруг внизу, в долине, прокричал петух. «Ага, — сказал он, — вот эту птичку я словлю» — и побежал себе вниз по узкой просеке в долину.

Мудрость короля

Верховная королева Ирландии умерла родами, и ребенка ее отдали на кормление одной женщине, а женщина эта жила на опушке леса. Как-то ночью женщина укачивала младенца в колыбели, думала о том, какой же он все-таки красивый, и молилась всем богам, чтоб наградили они его и мудростью под стать красоте.

Постучали в дверь; она встала открыть, хоть и была удивлена немало, поскольку ближайшие ее соседи жили в доме Верховного Короля, и дотуда пути была миля, а на дворе стояла ночь.

«Кто там?» — спросила она, и тоненький голосок отозвался немедля: «Открой! я из стада серого ястреба, и пришла я из мглы великого леса». В страхе она отворила засов, и в дом вошла старуха, древняя как смерть, одетая в серое и роста огромного, и встала в изголовье колыбели. Женщина так и вжалась в стену от страха и все глядела на старуху, не отводя глаз, ибо от очага на ту падал отсвет, и ей стало ясно видно, что на голове у старухи вместо волос — ястребиные перья.

«Открой мне дверь! — крикнул тут еще один голос. — Я из стада великого ястреба и слежу за гнездом его во мгле великого леса». Нянька снова отворила дверь, хоть пальцы и не слушались ее совсем, и в дом вошла еще одна старуха, такая же древняя, как первая, с такими же перьями вместо волос, и встала с той рядом. Чуть времени спустя явилась третья старуха, потом четвертая, а потом еще, еще и еще, покуда в доме не сделалось тесно от их нечеловечески огромных тел. Долгое время все они стояли молча, но потом одна пробормотала тихо и голосом тонким, как нить: «Сестры, я издали увидела его и узнала, слишком уж красное сердце бьется под этой серебряной кожей»; а за ней сказала другая: «И я его узнала, потому что сердце это бьется, как птица под серебряною сетью»; а следом молвила и третья:

«Сестры, я узнала его, потому что сердце это поет, как птица, которая счастлива в серебряной клетке». А потом все они стали петь, и те, что стояли ближе, качали колыбель длинными своими сморщенными пальцами; голоса их звучали то ласково и нежно, а то подобно буре в чаще великого леса, и песня их звучала так:

С глаз долой — из сердца вон:
Спесь мужская, женский стон
Взяли хлеб наш, взяли пламень
И алтарный серый камень;
Только град, и дождь, и гром —
До скончания времен.
Да сердца, где серый сок
Заструится в должный срок.

Когда песня смолкла, та старуха, что говорила первой, сказала: «Что ж, нам осталось только смешать с его кровью каплю нашей собственной крови». Она велела няньке принести веретено, царапнула руку себе острым кончиком, уронила каплю серой, как утренняя дымка, крови ребенку на губы и вышла вон.

Когда старухи ушли все, нянька пришла наконец в себя, поспешила в королевский дом и кричала посреди тронной залы, что ночью к младенцу приходили ши; и тогда король, и поэты, и законники пошли вместе с нею к ней в дом, и столпились вокруг колыбели, и галдели, как стая сорок, а ребенок сел и смотрел на них.

Прошло два года, и король умер, а поэты и законники стали править от имени мальчика; но все они знали, что это ненадолго, что вскорости мальчик повелевать страную и людьми станет сам, ибо никому из них не доводилось еще в жизни видеть ребенка столь мудрого; и все бы шло хорошо и ко всеобщей радости, когда бы не одно таинственное обстоятельство, от коего не по себе становилось умудренным опытом мужам, и пуще того беспокоились женщины и говорили о том между собой не переставая. У мальчика между

волос стали расти вдруг перья серого ястреба, и как уж нянька не выстригала их все до единого, проходило несколько дней, и они появлялись опять, и всякий раз их становилось больше. И дело-то было вроде как несостоящее, ибо чудесами в то время удивить людей было трудно — так часто они случались, но, согласно древним законам, никто в Ирландии не мог занять престол, коли был он отмечен телесным изъяном; а поелику серый ястреб есть тварь нечистая, трудно было бы на человека, у коего вместо волос ястребиные перья, смотреть иначе как на проклятого и нечистого; и люди, окружавшие мальчика, отделить свое восхищение при виде мудрости столь явной от ужаса пред нечеловеческой, как видно, кровью, текущей в его жилах, никак не могли. Однако все они сходились во мнении, что править должен только мальчик, и никто другой, поскольку пришлось им уже натерпеться допрежь от неумных королей и от собственного беззакония; и боялись они все одного — что мальчик по великой мудрости своей решит закон исполнить строго и призовет на царствие кого еще.

Когда ребенку исполнилось семь лет, главный поэт собрал всех поэтов и законников, чтоб рассудить еще раз и чтобы еще раз все взвесить. Мальчик, конечно, давно уже заметил, что у всех остальных людей на голове одни лишь волосы, и хотя ему и объяснили, что, мол, в прежние времена перья на голове росли у всех и у каждого, но обычные люди их утратили в наказание за грехи отцов, но было ясно, что правду он узнает сразу же, как только начнет бродить по округе. После долгих раздумий они приняли новый закон, по которому под страхом смерти каждый житель страны обязан был вплетать в волосы перья серого ястреба, и разослали по всем концам страны множество слуг с сетями, пращами и луками, чтобы набрать ястребиных перьев в достатке. А еще они велели возгласить, что всякий, кто скажет мальчику правду, также подлежит смертной казни.

Шли годы, и мальчик из мальчика стал юношей, затем из юноши — мужчиной и стал задаваться странными и каверзными вопросами, отыскивая сходство в вещах, всегда казавшихся куда как разными, и в одинаковых вещах ища различий. Великие множества людей стекались со всех концов света, чтоб подивиться на него или задать ему вопрос, но на всех границах государства стояла бдительная стража, и всякого, кто бы он ни был, заставляла вплести меж волос перья серого ястреба. Когда они ему внимали, тьма становилась вдруг светом и слова его, как музыка, оставались у них в сердцах; но стоило им только вернуться домой в свои земли, и слова эти начинали казаться им неожиданно далекими и забывались быстро, а то, что удавалось вспомнить, — чересчур загадочным и странным, чтобы помочь им в жизни.

Многие и впрямь, вернувшись, начинали жить иначе, однако новая их жизнь бывала зачастую куда печальней жизни прежней: были такие, кто много лет до встречи с юным королем служил какой-нибудь доброй цели, но вот они слушали, как он воздавал их подвигу хвалу, а вернувшись домой, находили подвиг свой не столь уж важным, а цель — не такой уж и высокой, ибо он научил их, какая ничтожная малость лежит порой между правдой и ложью; были другие, кто, напротив, и не ставил перед собою никогда великих и невыполнимых целей, но созидал в довольствии и мире благосостояние собственного дома своего, такие обнаруживали вдруг, что кости их как будто стали мягче и что былой готовности служить самим себе орудием труда как будто и не стало вовсе — ибо он открыл им иные, огромные миры и перспективы; и сотни молодых людей, вспоминая потом, как говорил он обо всем об этом, восстанавливали в памяти буквально два или три его странных слова, но слова эти делали обычные их радости пустой мишурой — они пускались искать невозможного и делались несчастливы.

Среди тех, кто приезжал взглянуть на него и послушать, как он говорит, была и дочь одного короля, из королевства дальнего и незначительного вовсе; едва увидевши ее, он полюбил, поскольку красота ее была иной, чем красота всех прочих женщин; но в груди ее билось обычное женское сердце, и, когда она задумалась над тайной ястребиных перьев, ей стало страшно. Ошеломленная величием его и мудростью, она не знала, принять ли ей его любовь или отвергнуть; а он дарил ей подарки, изо дня в день, разные дорогие и странные вещи, которые купцы везли ему из Индии, а не то из самого Китая; но она все не могла никак выбрать, улыбаться ей или хмуриться сурово; подчиниться ему или же оттолкнуть. Он сложил к ногам ее всю свою мудрость, он рассказал ей множество вещей, о коих даже сиды и те успели позабыть; и ему казалось, что она его понимает, ибо красота ее сама была как мудрость.

При доме жил некий светловолосый юноша, высокий, знаток в искусстве воинской борьбы; и вот в один прекрасный день король услышал среди ракитовых кустов его голос. «Любовь моя, — сказал голос, — как я их ненавижу за то, что они заставили тебя воткнуть в прекрасные твои волосы все эти грязные перья, и только лишь ради того, чтобы этот хищный ястреб мог спокойно спать на королевском троне»; и тут же тихий мелодичный голос, который он узнал бы из тысячи тысяч других голосов, ответил первому: «Что ты, да разве мои волосы прекраснее твоих; вот смотри, я вынула у тебя из волос все перья, и пальцам вольно теперь скользить меж ними вот так, и так, и так, потому что теперь мне не страшно». И тут король припомнил сразу все те незначащие мелочи, которые обычно забывались сразу и не оставляли следа просто потому, что он их не понимал: случайные оговорки поэтов его и законников, сомнения, которые он сам счел когда-то недостойными его внимания; и он позвал любовников дрожащим голосом. Они вышли из-за ракитовых кустов

и бросились ему в ноги, умоляя о помиловании. Он наклонился, выдернул перья из волос у женщины и, не сказав ни слова, пошел прочь. Он пришел в свою тронную залу, собрал поэтов и законников и, вставши на помост, сказал голосом громким и ясным: «Слуги закона, зачем вы заставили меня противу закона согрешить? И вы, стихотворцы, зачем вы заставили меня грешить противу тайны мудрости? — ибо закон сотворен человеком во благо людей, мудрость же сотворена богами, и не следует человеку жить при свете ее, поелику сама она, как град, и дождь, и гром, грядет тропой смертельною для смертных. Люди закона и люди стиха, живите так, как вам жить следует, и призовите править вами Эохайда Быстрого Умом, ибо я ухожу от вас искать мне подобных». И после этого сошел к ним и вынул у одного, потом у другого из волос ястребиные перья и, бросив их на камышом устланный пол, вышел вон; и никто не осмелился последовать за ним, ибо глаза его сверкали, как глаза хищной птицы; и ни единый человек с тех пор не видел его самого и голоса его не слышал.

Сердце весны

Древний старик, чьи скулы кожей обтянуты были едва ли не плотней, чем птичья лапка, сидел в раздумье на каменистом берегу плоского, поросшего орешником острова, расположенного в самой широкой части озера Лох-Гилл. Рядом примостился юноша лет семнадцати, с открытым крестьянским лицом, и следил не отрываясь за тем, как ласточки, задевая то и дело за воду, охотятся на мошкарку. Старик был одет в потертый синий бархат, на юноше была ворсистая, грубой шерсти куртка и на шее — четки. За спинами у них, скрытая наполовину в зарослях, виднелась маленькая обитель.

Когда-то, давно еще, она выгорела дотла, сожженная ревностными приверженцами королевы¹⁰³, но мальчик заново покрыл ее камышовой крышей, чтобы старику перед смертью было где укрыться от непогоды. До сада, однако, руки у него не дошли, и выпестованные когда-то монахами розы и лилии все разрастались и разрастались, покуда буйное их и диковатое уже великолепие не встретилось и не смешалось со сходявшимся понемногу к центру плотным кольцом папоротника. Там, где кончались лилии и розы, папоротник стоял такой высокий, что забреди туда ребенок, он тотчас бы скрылся из виду, даже если и шел бы на цыпочках; а еще чуть дальше начинался орешник и молодая дубовая поросль. «Хозяин, — сказал юноша, — такой долгий пост, а вы еще и по ночам работаете, и заклинаете всех этих тварей, которые живут в воде, и в орешнике, и в дубах, и говорите с ними; это не по вашим силам, хозяин. Отдохните от трудов, я же заметил, что ваша рука сегодня на плечо мое легла тяжелей, чем обычно, и ноги слушаются вас хуже, чем всегда. Люди вон говорят, что вы старей орлов горных и все никак не хотите покоя, как то положено старикам». Говорил он горячо, словно бы всю душу вкладывал в свои слова; старик же отвечал ему раздумчиво и не торопясь, так, словно душа его бродила где-то среди далеких событий и дней.

— Я скажу тебе, почему я не могу остановиться, — сказал он. — Все правильно, ты должен это знать, ты

¹⁰³ В конце XVI века, во времена королевы Елизаветы, как, впрочем, и позже, в Ирландии шла фактически постоянная война — то партизанская, то открытая — между т. н. королевскими протестантами, или англо-ирландцами, ориентированными на английский престол, и разного толка национальными партиями и кланами, сохранившими верность традиционной католической вере. Национальный и политический конфликт тогда уже приобрел в Ирландии религиозный оттенок, в результате чего, естественно, католическая церковь немало пострадала от проанглийских вооруженных формирований — как правительственных, так и нерегулярных.

хорошо служил мне все эти пять лет, ты привязался ко мне и видел в служении этом свой какой-то смысл, а потому хоть немного, но облегчал мое одиночество, сей злой рок людей мудрых. Теперь же, когда конец трудов моих и торжество моей надежды совсем уже рядом, тебе тем более необходимо это знание.

— Хозяин, не думайте только, что я вас о чем-то спрашивал. Я для того и живу, чтобы поддерживать огонь и следить за крышей, чтобы камыш лежал плотно, не то иначе просочится дождь, и чтоб переплетен он был как положено, иначе ветер разбросает его среди деревьев; и чтобы снимать вам с полок тяжелые книги, и чтобы быть почтительным и не задавать вопросов. Господь, во изобилии милостей Своих, для всякой живой твари создал собственную мудрость, моя как раз и есть — заботиться о подобных вещах.

— Ты боишься, — сказал старик, и в глазах его блеснула злая искра.

— По ночам, иногда, — сказал юноша, — когда вы читаете, сжавши в руке рябиновый свой посох, я выглядываю из дома и вижу то огромного серого человека, едущего сквозь орешник на дикой свинье, то множество крошечных таких человечков в красных шапочках, и как они выходят из озера и гонят перед собой маленьких белых коров. Этих я боюсь не так, как большого и серого, потому что они, чуть только подойдут поближе к дому, доят своих коров, пьют пенистое молоко и принимаются потом плясать; а я же знаю: кто любит плясать — тот зла в душе не держит; но и этих я тоже боюсь. И еще я боюсь высоких этих белоруких дам, которые являются вдруг прямо из воздуха и движутся так тихо-тихо то туда, то сюда, собирают наши розы и лилии и плетут себе из них венки, а еще распускают промежду цветов свои живые волосы, которые сами по себе — я сам слышал, как они об этом говорили тем, маленьким людям, — то расходятся широко, то снова опадают, смотря по тому, какие у дам у этих

в голове сейчас мысли. Лица у них прекрасные и добрые, но я вообще боюсь ши и боюсь той власти, которая их притягивает к нам.

— Да почему же ты, — сказал старик, — боишься тех древних богов, что делали копья твоих пращуров острее и тверже в битвах, и маленького народца, что выходит по ночам из глубины озерной и поет у очагов своих со сверчками наперебой? Ведь в злые нынешние времена только они одни и следят еще за тем, чтобы земля наша по-прежнему была прекрасна. Но я обещал объяснить тебе, почему я постился и не покладал трудов своих, когда другие давно уже погрузились в тусклый старческий сон, ибо, еще раз повторю, без твоей помощи труды мои и пост мой не привели бы к доброму итогу. Ты окажешь мне еще последнюю услугу, а потом иди, и построй себе дом, и возделай поле, и возьми какую-нибудь девчонку, чтоб стала она тебе женой, и позабудь о старых богах, а я в награду за труды оставлю для тебя в этой обители немного денег, чтобы стропила дома твоего стояли крепче и чтобы всегда были полны кладовая и подпол.

Всю мою жизнь я пытался открыть тайну жизни. Я не был счастлив в юности, ибо знал, что юность моя пройдет; я не был счастлив в зрелые годы, ибо ждал прихода старости; и вот я посвятил и юность мою, и зрелые годы, и старость поиску ключа к Великой Тайне. Я искал такой жизни себе, чтоб в изобилии своем она заполнила века и века, и я с презрением отверг положенные восемьдесят зим. Я стать пытался — нет, я СТАНУ! — как древние боги прекрасной этой земли. Давным-давно, еще в юности, я вычитал в одном манускрипте — я откопал его случайно, в Испании, в монастыре, — что существует такой особенный момент времени, после того как солнце войдет в созвездие Овна, и прежде чем минует оно созвездие Льва, который весь как будто бы дрожит, струится изнутри Песнею Сил Бессмертных, и тот человек, который вычислит

сей момент и услышит Песнь, станет сам подобен Силам Бессмертным; я вернулся в Ирландию и стал допытываться у ведунов и у фэйри, не знает ли кто из них случайно, когда наступит такой момент; но, хоть все они о моменте этом и слышали, часа и дня никто мне указать не смог. И тогда я отдал все свое время и все силы искусству магии и провел свою жизнь в постах и трудах без роздыха и срока, чтобы только привлечь на свою сторону богов и фэйри; и вот наконец совсем недавно один из народа фэйри сказал мне, что миг сей близок. На нем была красная шапка, и губы его были белыми от пенистого молока, и он прошептал мне новость эту на ухо. Завтра, чуть подойдет к концу первый утренний час, я поймаю момент, и уйду в далекую южную землю, и выстрою там дворец себе из белого мрамора среди апельсинового сада, и соберу вокруг себя прекрасных и смелых сердцем, и войду в безвременное царство вечной юности. Однако для того, чтобы я мог услышать Песнь целиком, до последнего звука, сказал мне маленький тот человечек с молочной пеной на губах, ты должен нарезать множество зеленых веток с листьями, как можно больше зеленых веток, и заложить ими дверь и окно моей кельи; а пол устлать нужно свежим зеленым камышом и насыпать стол и камыш на полу розами и лилиями из монастырского сада. Ты должен сделать это сегодня же ночью, а утром, чуть только минет первый час зари, ты придешь сюда снова, и я буду здесь.

— Ты снова будешь молод — утром? — спросил юноша.

— Не старше, чем ты сейчас, но сегодня вечером я все еще старик, и я устал, и тебе придется помочь мне добраться до кресла и до книг.

Когда юноша проводил мудреца в его келью и зажег ему лампу, которая каким-то чудом испускала не только свет, но и сладкий аромат неких неведомых цветов, он отправился в лес и принялся срезать там ветки, много веток, а после — камыш у западной оконечности

острова, где невысокие скалы уступали место пологому, то песчаному, то глинистому берегу. Спустилась ночь, покуда не нарезал он в достатке того и другого, и было за полночь, когда он уложил на место последнюю вязанку и пошел в заросший сад за розами и лилиями. Была одна из тех теплых, великолепных ночей, когда весь мир сияет изнутри, словно бы вырезанный неведомой рукой из дорогих камней. Лес Слойт на южной стороне большого озера — из берилла, из зеленого берилла, а озерная вода, в которой стыло матовое отражение его, отблескивала явственно опалом. Розы, которые он собирал, были как яркие рубины, и в лилиях мерцал жемчужный тусклый переблеск. Весь мир, казалось, приобрел странный отзвук безвременья, бессмертья, и только светлячок, сиявший одиноко пусть неярким, но ровным огоньком среди теней, передвигаясь плавно и неспешно, он один казался существом живым и подверженным власти времени, как смертная надежда.

Юноша набрал огромную охапку роз и лилий и, сунув светляка среди рубинов и жемчугов, отнес цветы в комнату, где сидел в полудреме старик. Пригоршню за пригоршней уложил он цветы на столешнице и на полу, а потом, осторожно прикрыв за собою дверь, бросился ничком на свою камышовую кровать, чтобы уснуть и видеть сны о счастливой зрелости, о желанной женщине и о смеющихся в голос детях. На заре он встал и пошел на берег озера, захватив с собой песочные часы. Он уложил в лодку хлеб и немного вина, чтобы его хозяин хотя бы в самом начале дальнего своего пути не испытывал голода, и сел ждать окончания первого утреннего часа. Понемногу стали просыпаться птицы, и, когда упали в нижнюю склянку часов последние песчинки, мир будто бы взорвался вдруг их переливчатой музыкой. Был самый славный, самый искренний момент года, и отчетливо стало слышно, как бьется в нем сердце весны. Юноша встал и пошел обратно, к обители.

Дверь была завалена зелеными ветвями, и ему пришлось расчищать себе путь. Когда он вошел, солнечный свет лежал широкими, едва заметно дрожащими кругами на полу, на столе и на стенах, и келья полна была зеленых призрачных теней. Старик сидел в кресле, захватив обеими руками со стола охапку роз и лилий и уронив голову на грудь. На столе под левою его рукой лежал открытый кожаный кошель, набитый доверху золотыми и серебряными монетами, как будто и впрямь в ожидании дальней дороги, в правой же руке он сжал длинный свой посох. Юноша тронул его за плечо, но старик не ответил. Он взял его за руку — рука была холодной и тяжело упала на столешницу, обратно.

«Лучше бы он все-таки молился, — сказал парень, — и целовал свои четки!» Он поднял глаза на вытертый синий бархат и увидел, что ткань сплошь усыпана цветочною пылью, и, пока он так стоял, на груди веток, наваленных на оконный проем, опустился певчий дрозд и запел.

Проклятие огней и теней

Однажды летней ночью, когда война уже кончилась и был мир, дюжина солдат-пуритан под командою благочестивого сэра Фредерика Гамильтона ворвалась в двери аббатства Белых Братьев в Слайго. Когда упала с грохотом выбитая прикладами мушкетов дверь, они увидели, что монахи собрались все вместе подле алтаря — и белые их рясы отблескивали белым в ровном свете высоких церковных свечей. Все монахи преклонили колени, за исключением аббата, который стоял у алтаря, на самых ступеньках, и сжимал в руке тяжелое медное распятие.

«Стреляйте в них!» — крикнул сэр Гамильтон, но никто из солдат даже и не пошевелился, ибо все они

были из новообращенных и боялись свечей и распятия. Ненадолго стало тихо, но потом пятеро солдат, которых сэр Гамильтон назначил личной своей охраной, подняли мушкеты и застрелили из монахов пятерых. В дыме и в грохоте выстрелов таинственность алтарных тусклых огоньков пропала будто бы сама собой, все прочие солдаты осмелели и тоже стали стрелять. Не прошло и минуты — все монахи до единого лежали подле алтаря в своих белых, запятнанных кровью рясах. «Сожгите дом!» — крикнул сэр Гамильтон; один из солдат тут же сбегал за охапкой сухой соломы и бросил ее у западной стены, но поджигать не стал, поскольку все еще боялся свечей и распятия. Увидев это, те пятеро солдат, которых сэр Гамильтон назначил в свою охрану, подошли к алтарю, взяли каждый по освященной свечке и подожгли солому с пяти сторон. Красные языки пламени мигом взметнулись к самой крыше и разбежались по полу, поджигая скамьи и сиденья, и тени солдат заплясали меж консолей и памятных каменных досок.

Но алтарь стоял еще какое-то время нетронутый, словно бы замкнутый в отстраненности своей посреди яркого круга света; и глаза солдат обратились к нему. Аббат, которого они сочли было мертвым, поднялся на ноги и стоял теперь пред алтарем, высоко держа обеими руками над головой распятие. Внезапно он выкрикнул в полный голос: «Проклятие на тех, кто с прахом смешал живших во Свете Божьем, и скитаться им отныне меж теней и меж огней!» И, сказав так, упал замертво лицом вниз, а бронзовое распятие скатилось по ступеням алтаря.

Дым стал гуще, и солдатам пришлось выйти на свежий воздух. Перед ними пылали дома. За спинами у них в освещенных окнах аббатства корчились в огне святые и мученики, как будто пробудившиеся от некоего странного транса к жизни быстротечной и злой. В гла-

зах у солдат после яркого пламени стояли темные пятна, и какое-то время они не видели ничего, кроме пламенеющих ликов святых. Потом, немного погодя, появился откуда-то запыхавшийся человек, весь в пыли, и крикнул на бегу: «Ирландцы, — крикнул он, — с этими покончено, но они успели отправить двух гонцов, чтобы поднять против вас деревни вокруг имения Гамильтонов, и если вы их не перехватите, вас всех перебьют в лесу на обратном пути. Они поехали на северо-восток, между Бен-Балбеном и Кэшл-на-Гэл».

Сэр Фредерик Гамильтон подозвал к себе тех пятерых, которые первыми стали стрелять в белых братьев, и сказал им: «Седлайте лошадей и гоните через лес прямо на гору. Вы должны поспеть туда прежде тех двоих, там вы их и убьете».

Солдат как будто ветром сдуло, и минутой позже они уже переправились через реку в том месте, которое называется теперь Ивовый Брод, и углубились в лес. Они держались грунтовой дороги, что вилась вдоль северного берега реки.

Ветви придорожных берез и рябин сплетались у них над головами, заслоняя и без того неяркий, сквозь дымку, лунный свет, и дорога была темной. Они шли быстрой рысью, то перебрасываясь парой слов, то глядя вслед метнувшейся с дороги в лес, во тьму, ласке или кролику. Мало-помалу тишина и темень леса заставили их сбиться плотнее, и говорить они стали быстрее и громче; они все были старые товарищи и знали, кто чем дышит. Один был женат и говорил о том, как его жена будет рада увидеть его живым и здоровым после этой сумасбродной вылазки в монастырь Белых Братьев; он же говорил ей, что в быстроте залог успеха. Самый старший из пятерых, жена у него давно уже умерла, говорил о большой бутылки вина, которая ждет его не дождется на верхней полке в кладовке; третий же, из всех из них самый молодой, думал о своей зазнобе,

которая стоит, должно быть, сейчас у дороги и выглядывает его в темноте; он ехал чуть впереди и вообще за всю дорогу ни разу не открыл рта.

Внезапно молодой солдат остановился, и все увидели, что его лошадь дрожит. «Я видел что-то странное, — сказал он, — а может, это просто тень так легла. Вроде как огромный змей с серебряной короной на голове». Один из пятерых потянулся было щепотью ко лбу, как будто для того, чтобы перекреститься, но вспомнил, что вера у него теперь другая; он опустил неловко руку и сказал: «Да брось ты, это тень была, точно, смотри вон, сколько их, и все одна другой чуднее».

Они молча поехали дальше. В первой половине дня прошел дождь, и капли падали теперь с ветвей им на головы и на плечи.

Прошло какое-то время, и разговор завязался опять. Они плечом к плечу сражались с повстанцами уже не первый год, и пересказывали теперь в сотый раз историю всех ран своих и удач, за разговором позабыв наполовину о страшной лесной тишине.

Внезапно передние две лошади заржали и стали как вкопанные. Блеснула вода, и по тихому ее журчанию они поняли, что перед ними речка. Они спешили и принялись тянуть за поводья и уговаривать на разные лады лошадей, покуда не вышли к самой кромке воды. На самой середине реки стояла высоченная старуха в сером платье и с целою копной седых волос на голове. Вода доходила ей до колен, и время от времени старуха нагибалась, так, как будто бы стирала. Чуть времени спустя они заметили, что в воде перед ней и впрямь виднеется какая-то темная масса. Луна бросала на воду неровный, чуть дрожащий отблеск, и вдруг они поняли, что старуха держит за край одежды мертвое мужское тело, и пока они все смотрели на мертвеца, течение перевернуло его на спину, и каждый из пятерых узнал в тот же самый миг собственное свое лицо. Они стояли оглушенные, не в силах двинуться,

и тут старуха заговорила, голосом громким и внятным: «Что, видали моего сынка? У него еще на голове серебряная корона?» Тут самый старей из солдат, весь от головы до пят покрытый шрамами, вынул шпагу из ножен и крикнул: «Я сражался за Бога истинного, и нету во мне страха пред порождениями диавола» — и кинулся в воду. Вернулся он чуть не тут же. Женщина исчезла, и как он ни тыкал шпагою в воду и воздух, ничего обнаружить не смог.

Все пятеро вскочили в седла и пустили лошадей вброд, но лошади идти никак не хотели. Они попробовали еще и еще раз, и охаживали лошадей своих шпорами по бокам, но те только все пятились и были скоро все в мыле. «Поехали обратно, — сказал старей солдат, — через лес, попробуем переправиться чуть выше». Они нырнули под толстые сучья прибрежных деревьев, давя копытами ползучий плющ, и ветки защелкали о железные их шишаки. Минут через двадцать такой езды они снова вышли к реке и еще минут через десять нашли место, где лошадям было едва по брюхо. Лес на том берегу был совсем редкий, и длинные полосы лунного света ложились сквозь проемы на воду. Поднялся ветер, понагнал откуда-то облаков, так что редкие всполохи лунного света заплясали по разбросанным там и сям кустам и островкам еловой поросли. Застонали большие деревья, и звучал сей стон как принесенная издали ветром жалоба мертвых; и солдатам вспомнилось вдруг, что мертвых в Чистилище накалывают, как на пики, на верхушки деревьев и скал. Они взяли к югу в надежде, что вот-вот наткнутся на большак, но дорога словно провалилась.

Стон тем временем становился все громче и громче, и пятна света быстрее заплясали по земле. Понемногу до них стала доноситься издалека сквозь ветер вроде бы музыка. Да, играли на волынке, и солдаты радостно пришпорили лошадей. Звук шел из глубокой, похожей на чашу, лощины. Они спустились и на-

шли на дне лощины сморщенного старика в красной шапке.

Старик сидел у костра, в костре горел хворост, у самых ног своих старик воткнул зачем-то в землю факел — и яростно дудел в волынку. Рыжие волосы его космами рассыпались по лицу, как пятна ржавчины по поверхности скалы. «Что, видали вы женушку мою? — спросил он, подняв на миг к ним лицо. — Она стирает на реке! она стирает!» — «Я его боюсь, — сказал молодой солдат, — я боюсь, что он не человек совсем». — «Да нет, — отозвался старший его товарищ, — такой же самый человек, как и мы с тобой, вон гляди — веснушки на лице. Будет нам проводником, а не захочет, так заставим» — и с этими словами вынул шпагу, и остальные сделали то же. Они все стали вокруг волынщика кольцом и направили на него свои шпаги, а потом старый солдат сказал ему, что они, мол, должны перехватить и убить двух бунтовщиков, которые поехали по дороге между Бен-Балбеном и другой большой горой, которая называется Кэшл-на-Гэл, и что ему придется сесть на лошадь перед кем-нибудь из них и указывать путь, потому что они сбились с дороги. Волынщик указал рукой на соседнее дерево, и они увидели привязанную к стволу старую белую клячу, оседланную уже и взнузданную и с подтянутой подпругой. Старик забросил волынку за спину, подхватил на ходу факел, забрался в седло и тут же тронулся с места, быстро как только мог.

Лес стал еще реже, они, судя по всему, ехали вверх по склону горы. Луна ушла, но в разрывах меж туч ярко сияли звезды. Склон становился все круче, покуда наконец они не выбрались, оставив лес далеко позади, на просторную плоскую вершину горы. Леса расстились внизу на мили и мили окрест, и далеко на юге отсвечивал красным заревом догорающий город. Проводник потянул вдруг резко повод на себя и, указав вверх свободной рукой — в другой, на отлете, он держал факел,

выкрикнул резко: «Гляньте; гляньте на святые свечки! — и сорвался в галоп, размахивая что есть силы факелом. — Слышите стук копыт? — кричал он на ходу. — Это едут бунтовщики! Пошевеляйтесь, пошевеляйтесь! а не то они от вас уйдут!» — и он смеялся раскатисто в бешеном охотничьем азарте. Солдатам и впрямь показалось, что откуда-то издалека и вроде бы как снизу донесся перестук копыт; но земля под ногами коней опять как будто вздыбилась, и скорость с каждой секундой нарастала, как во сне. Они пытались натянуть поводья, но не могли никак, лошади словно взбесились.

Проводник же поводья бросил вовсе — на шею старой своей белой клячи — и размахивал теперь руками, и пел по-гэльски. И вдруг перед ними открылась блестящая тонкая змейка реки, в дали невероятной, глубоко внизу, и они поняли, что несутся к краю пропасти, той самой, что называется теперь Лагнэгалл, или, если по-английски, Чужакова Крутизна. Шесть лошадей прыгнули вперед, и рванулись в небо пять отчаянных криков, и минутою позже пятеро мужчин и пять лошадей с тупым тусклым стуком упали на зеленый склон у самого подножия скалы.

Где нет ничего, там Бог

Маленькие, плетенные из ивняка домики-«соты» в Тулле, где братия молилась обыкновенно или склонялась прилежно над разного рода ручной работой, как только наступали сумерки и с поля должно было уходить, стояли пустые, поскольку суровая зима согнала все население обитатели в один такой же маленький, но деревянный дом, притулившийся в тени деревянной же часовни; и вот теперь Аббат Малатгениус, Брат Голубь, Брат Лысый Лис, Брат Петр, Брат Патрик, Брат

Выпь, Брат Светлобров и множество еще других, кто не заслужил себе покуда имени в битве ежедневной и славной, сидели с раскрасневшимися лицами вокруг огня: один налаживал донки, чтобы ловить на них в реке угрей, другой — силки для птиц, третий чинил треснувшую рукоять лопаты, четвертый писал в большой и толстой книге, а еще один как раз доделывал красивый, изукрашенный дорогими камнями для этой самой книги ларец; на полу же, покрытом толстым слоем камыша, лежали у их ног ученики-послушники, которым предстояло в один прекрасный день стать такими же монахами, но покуда пребывали они здесь в обучении; и, собственно, только для того, чтоб защитить от холода сих малых, и горел так весело и жарко в очаге огонь. Один из них, мальчик лет восьми или, может быть, девяти, по имени Айлиль, лежал на спине, глядя сквозь дымовое отверстие в крыше, как появляются, а потом вдруг пропадают звезды, и глаза у него были большие и кроткие, как у полевой какой зверушки. Он лежал так, лежал, а потом повернулся к тому брату, который писал в большой книге и в чьи обязанности входило учить детей уму-разуму, и спросил: «Брат Голубь, а к чему крепятся звезды?»

Брат Голубь, обрадовавшись подобной тяге к знаниям, каковая пробудилась ни с того ни с сего в наиглупейшем из его учеников, отложил стило в сторону и сказал:

— Суть девять сфер хрустальных, и к первой сфере крепится Луна, ко второй — планета Меркурий, к третьей — планета Венера, к четвертой же — Солнце, к пятой планета Марс, к шестой — планета Юпитер, к седьмой — планета Сатурн; сии суть звезды блуждающие; к восьмой сфере прикреплены недвижимые звезды; девятая же сфера есть вместилище той субстанции, в коей носилс Дух Господень до начала Творения.

— А дальше что? — спросил мальчик.

— Дальше нет ничего; дальше Бог.

Мальчик перевел глаза на богато украшенный ла-рец, где отблескивал в свете пламени один особенно большой рубин, и спросил опять:

— А зачем Брат Петр поместил на боковине такой большой рубин?

— Рубин есть символ любви к Богу нашему.

— А почему рубин есть символ любви к Богу?

— Потому что он красен, как пламя, а пламя сжигает все, а где нет ничего, там Бог.

Мальчик погрузился в молчание, но потом выпрямился резко и сказал:

— Там кто-то есть, снаружи.

— Нет, — сказал Брат, — это всего лишь волки; я слышал недавно, как они ходили там, в снегу. Зима повыгнала их с гор, вот они теперь и злятся, совсем бешеные стали. Вчера забрались в овчарню и утащили чуть не все стадо. Если нам не побережься, они тут все у нас сожрут.

— Нет, это идет человек, больно шаги тяжелые; но и волчьи шаги я слышу тоже.

Едва он успел договорить до конца, как кто-то постучал три раза в дверь, совсем негромко.

— Я пойду открою, он, наверное, совсем замерз.

— Нет, не открывай, а вдруг это оборотень, он тогда нас точно всех сожрет.

Однако мальчик успел уже отложить тяжелую деревянную задвижку, и все лица, сколько их было в доме, в большинстве своем побледневшие слегка, повернулись к отворяющейся не спеша двери.

— У него четки и крест, он точно не оборотень, — сказал мальчик, пропуская внутрь мужчину с длинной растрепанной бородой и спутанными волосами, ниспадавшими на плечи ему и ниже, чуть не до пояса; на бороде и волосах лежал снег, и была на нем короткая накидка, прикрывшая едва до половины иссохшее, коричневатого оттенка тело. Человек вошел и медленно обвел взглядом всех присутствующих, лицо за лицом,

и взгляд у него был странный, кроткий и притом сияющий. Он сделал шаг к огню, потом глаза его остановились на лице аббата, и он воскликнул: «О благословенный игумен, дозвожь мне подойти к огню сему и обогреться и обсушить снег с бороды моей, одежды и волос, чтоб не пришлось мне умереть от холода в горах и тем навлечь на себя гнев Господень за добровольную мою муку». — «Подойди к огню, — сказал аббат, — и погрейся, и отведай пищи, какой принесет тебе отрок Айлиль. Ибо воистину сказано: всякий, за кого умер Христос, в бедности своей подобен должен быть тебе».

Человек сел к огню, и Айлиль взял у него промокшую насквозь накидку, с которой капала теперь вода, и поставил перед ним хлеб, и вино, и мясо; он, однако, ел только хлеб, а вино отставил прочь и спросил воды. Когда борода его и волосы стали понемногу подсыхать, а члены перестали содрогаться от холода, он заговорил опять.

«О благословенный игумен, сжался над бедняком, сжался над нищим, который столько долгих лет скитался в бесприютном этом мире, и дай мне работу, чтоб исполнять мне ее, самую тяжкую, какая есть, потому как из нищих всех пред Богом я есть самый нищий».

И братья стали судить, к какой бы такой работе можно было его приспособить, и поначалу придумать ничего не могли, поскольку всякое дело в трудолюбивой сей общине давно уже нашло себе труженика своего; но в конце концов один из них вспомнил, что Брат Лысый Лис, в чьи обязанности входило вертеть большой каменный жернов, ибо был он слишком глуп для всякого другого дела, стал слишком стар для этого тяжелого труда; и было решено наутро же поставить нищего молоть зерно.

Ушли холода, и весна сменилась летом, а жернов все молот и молот, как будто нищий усталости и знать

не знал — кто бы и когда бы ни прошел мимо мельницы, нищий пел и вертел себе рукоять. Сама собой исчезла и единственная напасть, не дававшая прежде покоя счастливой этой маленькой общине: отрок Айлиль, который отродясь был глуп и к учению не годен, сделался вдруг умен, и тем более казалось это удивительным, что перемена с ним произошла внезапно. Вчера еще он был едва ли не тупей обычного; его прибили и велели, чтоб к утру урок знал наизусть, а не то переведут его к малолеткам, чтобы те над ним потешались. Ушел он в слезах, но, когда явился в класс на следующий день, хоть глупость его, проистекающая от того, что он вслушивался ежеминутно во всякий сторонний звук и ум свой преклонять привык пред каждым наислучайнейшим бликом света, давно уже стала притчею во языцех в школе и во всем монастыре, урок свой он знал, да так, что сделался в тот день первым в классе, и учиться с тех пор стал лучше всех прочих. Поначалу Брат Голубь счел чудо сие результатом еженощных молитв, возносимых им к Деве Марии, и узрел в нем доказательство той необычайной любви, которую она якобы к нему питает; когда, однако, молитвы куда более жаркие ни колоска не прибавили к осеннему урожаю, он начал думать, что мальчишка-то, скорей всего, якшается с бардами, или с друидами, или с ведьмами, и решил походить за ним и последить. Мыслями своими он поделился и с аббатом, каковой ему велел в самый момент обнаружения истины тут же бежать к нему; и вот на следующий же день — а день был воскресный — он уже стоял у дорожки, когда аббат и братья шли с вечера в белых своих клобуках, ухватил аббата за край рясы и сказал:

— Сей нищий — из величайших на свете святых и чудотворцев. Я следил за Айлилем весь день, и потому, как медленно он шел и как понурил он голову, я понял, что груз его неразумия на нем, а когда он направился к той маленькой рощице возле мельницы,

я смекнул, что дорогою этой хаживал он не один раз — по тому, как выбита была поросль, и по множеству следов на глине. Я схоронился в кустах там, где ниже по склону тропинка сама идет себе навстречу, и по слезам на глазах его заключил, что глупость его — дело давнее и привычное, а вот ума в нем не настолько еще, чтобы спасти его от страха розги. Он вошел на мельницу, а я подкрался к окошку и заглянул внутрь, и птицы лесные слетели вниз и сели мне на голову и на плечи, потому как не боятся они ничего в святом этом месте; а после мимо ног моих прошел волк, правым боком задевши мне рясу, а левым — листья лещины. Айлиль отпер книгу и открыл ее на той странице, что я велел ему учить, и тут же стал плакать, а нищий сел с ним рядом и гладил его по голове, покуда тот не заснул. Когда сон его сделался глубоким и спокойным, нищий опустил на колени и принялся молиться вслух, и говорил он так: «О Ты, Кто паришь меж звездами, яви силу Твою, аки во первый день, и ниспосли свет знания Твоего, дабы разбудить спящий ум сей, коему от мира дольного не дадено и крохи, и да поют Тебе хвалу все девять чинов ангельских», — и тут пролился с неба свет, и окружил Айлиля, и ноздри мои вкусили благоухание роз. Я вздрогнул весь при виде этого чуда, нищий обернулся, увидел меня и, склонившись в земном поклоне, сказал: «О Брат Голубь, ежели сделал я что не так, прости меня, я приму епитимью». Я же так был напуган, что бросился бежать и не останавливался до той поры, покуда не очутился здесь.

Тут стали Братья говорить все разом: один — что это, мол, такой-то и такой-то святой; второй — что во все, мол, не он, а другой; третий же — что ни один из первых, потому как оба они пребывают сейчас в своих обителях, а этот есть как раз такой-то; и спор едва не перерос у них в драку, как то и должно в доброй компании, ибо каждый счел своим долгом уж непременно записать святого к себе в земляки. В конце концов аббат

сказал: «Никто он из тех, кого называли, поелику только на Пасху получил я ото всех от них приветы, и каждый пребывал в своей обители; он же есть Энгус Боголюб, и первым жить ушел во пустынь, к зверям лесным. Десять лет тому назад ощутил он тяготу от множества трудов в том братстве, что у подножья Патрикова холма, и ушел он в лес, чтобы трудиться Богу одною лишь песней; однако же слава о святости его тысячи и тысячи людей приводила к его келье, и в том он, всех искусов бежавший, узрел опасность гордыни. Девять лет тому назад он оделся в лохмотья, и с того самого дня никто его более не видел, ежели, конечно, не верить тем, кто говорил, что будто бы живет он с волками и питает плоть свою полевою травой. Пойдемте же к нему и поклонимся, ибо наконец, после долгих поисков, нашел он то самое ничто, в коем Бог, и станем просить его направить нас в пути, им проторенном».

И они отправились в белых своих рясах по хоженной дорожке через лес, и служки шли впереди, кадя ладаном, а в самой гуще дыма шел аббат с изукрашенным камнями посохом; и пришли они к мельнице, и стали на колени, и принялись ждать, когда проснется отрок, а святой окончит бдение свое и выйдет посмотреть, как солнце спустится обычною тропой в неведомую мглу.

Сумерки душ

Невдалеке от Мертвецкого мыса, в долине Россес, где глядит двумя круглыми окнами, как глазами, на море заброшенный лоцманский дом, стояла в прошлом веке глинобитная хижина. Служила она также и наблюдательным постом, ибо в доме этом обитал некий Майкл Бруэн, старый контрабандист, отец нескольких местных средних лет контрабандистов и дед контра-

бандистов юных, и, когда после захода солнца в бухту со стороны Рафли входила воровато изящная французская шхуна, именно он ставил в южном окне фонарь, чтобы весть дошла до острова Доррена, а оттуда, при помощи такого же точно фонаря, — и до самой деревни Россес. Окромя случайных этих призрачных посланий, дел с прочим всем человечеством Майкл Бруэн почитает что вовсе не имел, потому как был он совсем уже старый и ни о чем, кроме души, уже и не думал и просиживал день деньской согнувшись в три погибели над испанскими своими четками. Как-то раз он целую ночь глядел на море, ибо ветер был то, что нужно, и дул с самой что ни на есть правильной стороны, а «*La Mère de Miséricorde*»¹⁰⁴ уже несколько дней как должна была прийти с грузом. В конце концов он совсем уже было собрался завалиться спать на привычную свою охапку соломы, потому что знал прекрасно — ни днем, ни даже на рассвете француз не осмелится пройти мимо Рафли и бросить в бухте якорь, как вдруг увидел большую стаю цапель: вытянувшись в ниточку, они летели со стороны Дорренова острова и вроде бы в сторону заброшенных, заросших камышом прудов, которые цепочкою лежат за песчаной пустошью, именуемой обыкновенно Второй Россес. Он еще ни разу в жизни не видал, чтобы цапли летели над морем, ибо птицы-то они береговые, и отчасти по причине удивления, прогнавшего дремоту, а прежде всего потому, что шхуна все не шла и, следовательно, в кладовке у него было пусто, он подхватил ржавый свой дробовик, ствол которого был примотан к ложу куском бечевы, и пошел к прудам.

Сколько-то времени спустя он и впрямь нашел цапель, коих было там без счета, и все стояли на мел-

¹⁰⁴ «Мать Милосердия» (фр.). Название французской шхуне, промышляющей контрабандой, в том числе и спиртного, в Ирландию Йейтс дает откровенно ироническое.

ководье, поджавши каждая по ноге; скрючившись за прибрежную стеною камыша, он проверил курок и пошептал чуток над четками, сказав так: «Святой Сент Патрик, понимаешь, больно уж мне хочется пирога с цаплей; и если ты не дашь мне сейчас промазать, я, честное слово, буду говорить тебе по розарию¹⁰⁵ каждый вечер, пока не съем от этого самого пирога последний кусок». Засим он лег на землю, угнездил ружье на большом валуне и навел его на ту из цапель, что стояла на травке, над небольшим впадавшим в пруд ручьем; потому как он боялся ревматизма, а ежели подстрелишь первую попавшуюся цаплю и придется потом лезть за ней в воду, непременно этот самый ревматизм и схватишь. Но когда он глянул вдоль ствола, цапли никакой там не было, а вместо цапли, к удивлению его и ужасу, стоял какой-то старик, древности просто невероятной. Бруэн опустил ружье — и снова перед ним была цапля, голова опущена и ни перышком не шевельнет. Он поднял ружье — и опять на мушке у него был старик, который исчез с глаз долой, едва он только отнял приклад от щеки. Он отложил ружье в сторону, перекрестился три раза, прочитал Патерностер¹⁰⁶ и Аве Марию, проворчал чуть не в голос: «Удит враг Господень

¹⁰⁵ То есть столько раз читать молитву, сколько бусин в драгоценных его четках, или, иначе, розарию.

¹⁰⁶ Pater Noster и Ave Maria — наиболее употребительные в быту короткие католические молитвы, аналог православных «Отче наш» и «Богородице, Дево, радуйся». Служба в католицизме ведется и, следовательно, молитвы читаются исключительно по-латыни, а поскольку контрабандист Майкл Бруэн в латыни смыслит столько же, сколько кот в астрономии, Патерностер для него есть нечто единое и непере译имое на нормальный человеческий язык. Так же точно несколько ранее он обращается к святому Патрику «Holy Saint Patrick», т. е. в буквальном переводе «Святой святой Патрик», ибо Сентпатрик для него есть фамильярное имя святого. По-русски, к сожалению, адекватно передать особую возникающую при этом интонацию не представляется возможным.

у святой водички» — и, проделавши все это, прицелился еще раз, медленно и аккуратно.

Грохнул выстрел, и, когда дым рассеялся, он увидел скорчившегося на траве старика и цепочку цапель, улетающих спешно прочь, в сторону моря. Он обогнул заливчик и, дойдя до ручья, принялся разглядывать странную высохшую фигуру, одетую в кроенные на старый, очень старый лад и запачканные кровью отрепья. Потом покачал головой: вот, мол, блудит нечистый. Но тут вдруг фигура, лежавшая на земле, зашевелилась, и худая старческая рука потянулась к висевшим у него на шее четкам, да так, что высохшие скрюченные пальцы едва не достали до крестика. Он отшатнулся и крикнул: «Ну ты, колдун, как же, дам я всякой нечисти лапоть четки, да еще освященные!»

— Выслушай меня, — прошелестел голос, такой тихий, что больше он похож был на вздох, — ты поймешь, что я не колдун, и дашь мне перед смертью приложиться к распятию.

— Выслушать выслушаю, — сказал Майкл Бруэн, — но четки лапоть не дам, — и, усевшись на траве от умирающего чуток в сторонке, он перезарядил ружье, положил его на колени и приготовился слушать.

— Я не знаю, сколько поколений тому назад мы, вот эта самая стая цапель, были людьми, и людьми учеными: мы были книжники, мы не охотились, не сражались на поле битвы, не читали молитв, не пели песен, не влюблялись. Друиды говорили нам, и не один уже год, о новом каком-то друиде по имени Патрик; и большая их часть была на него зла; другие же, немногие, считали, что новое его учение есть не что иное, как их собственное, прежнее, только изложенное в иных словах и образах, и эти стояли за то, чтобы принять его как гостя и друга; но мы зевали, когда нам говорили о Патрике. В конце концов они пришли к нам и кричали нам в уши, что он-де прибудет вот-вот ко двору,

дабы вступить с ними в словопрение, но не было в нас интереса ни к одной из сторон, ибо наши темы касались, ну, скажем, просодии, или сравнительных достоинств ассонанса и рифмы, слоговой или же тонической системы стихосложения; не обратили мы на них внимания даже и тогда, когда они прошли мимо окон наших, неся под мышками магические жезлы и направляясь к священному лесу, ни тогда, когда вернулись они назад после заката солнца, с бледными лицами и горестными восклицаниями на устах; ибо слишком уж нравился нам тихий скрежет наших ножей по дереву, когда записывали мы огамом¹⁰⁷ пришедшие нам в голову мысли. На следующий день людские толпы прошли мимо нас в ту сторону, где стоял дом короля, и один из нас, отложивши лезвие в сторону, чтобы зевнуть и почесаться, услышал даже говоривший в отдалении голос; однако же наши сердца были глухи, мы резали огам, и спорили, и читали, и смеялись нашим шуткам. Прошло еще какое-то время, и мы услышали топот множества ног у нашего дома, и тут же на пороге нашем стояли уже две высокие фигуры, и одна была в белых, другая же — в кармазинового цвета одеждах; мы, конечно же, сразу поняли, что это и есть Друид Патрик, а второй с ним — наш король. Мы отложили наши лезвия и склонились перед королем, однако голос, говоривший с нами, не был громкий грубый голос нашего короля, но был то голос грома и гнева небесного: «Я возгласил десять заповедей Господних, — сказал он, — в доме короля, и от самого центра земли до самых до врат Небесных воцарилось молчание, так что орел парил, не шевельнув крылом, рыба — плавником, и коноплянки, и крапивники, и проныры-воробьи перестали сновать и чирикать, и стали облака как белый мрамор, и застыли кровати в далеких заводях морских, и длили терпеливо вечность, хоть то и было им тяжело.

¹⁰⁷ Древнеирландское руническое письмо.

И только тонкие ваши ножи скрипели, скрипели по дереву, и звук сей был невыносим в огромной этой тишине. Поелику привыкли вы жить в таком месте, где ни ноги ангелов коснуться не могут ваших голов, ни щетинистые волосы бесов не щекочут подметок ваших, я в назидание грядущим поколениям сделаю из вас серых цапель, чтобы стояли вы из века в век, задумавшись, в серых мелких лужах и летали бы над миром в час, когда полнится он стонами и вздохами; и станет приходить за вами смерть случайно и без знака, и не будете вы знать ни в чем уверенности отныне и во веки веков».

Голос затих, но слушатель сидел все так же, скрючившись над ружьем своим и уставясь в землю, потому как был он слишком глуп, чтобы понять услышанное; так бы он и сидел, быть может, час еще или два, если бы не натянулась бечева, на которую нанизаны были четки, и не разбудила его. Старый книжник подполз по траве поближе, ухватился пальцами за крест и попытался дотянуться до него теперь губами.

«Не лапай освященные четки, ты!» — крикнул контрабандист и ударил по иссохшим тонким пальцам стволом дробовика. Впрочем, и в ударе-то этом особенной нужды не было, ибо старик откинулся со вздохом на траву и затих. Он нагнулся и принялся разглядывать выцветшую одежду, потому как страх его стал куда слабее, когда он понял, что книжнику этому чего-то от него, от Майкла, нужно, а теперь, когда освященным четкам опасность не угрожала, он и вовсе почти успокоился; и уж конечно, подумалось ему, ежели накидочка вот эта окажется теплой и дыр в ней будет не слишком уж много, Сентпатрик непременно снимет с нее всякие там чары и оставит за ненадобностью ему, Майклу Бруэну, поносить. Но древняя выцветшая ткань расползалась под пальцами; а тут еще поднялся над прудом легкий ветерок и вообще обратил старого книжника вместе с одеждою его в маленькую кучку праха;

а потом раз за разом делал кучку эту все меньше и меньше, покуда ничего в том месте не осталось, кроме гладкой зеленой травы.

Гордый Костелло, дочь Мак-Дермота и злой язык

Костелло вернулся с поля и лег на землю прямо у дверей старой своей квадратной башни; он положил подбородок на руки, поглядел на закат и принялся прикидывать, какая назавтра ожидается погода. Хотя обычаи времен Елизаветы и Иакова, уже выходящие понемногу из моды в Англии, только-только взяли среди местных джентри¹⁰⁸ настоящую силу, на нем по-прежнему надет был староирландский плащ, а в спокойствии лица его, в уверенной манере тела были гордость и сила времен куда как более простых и давних. Взгляд его с заката перекочевал на длинную, белеющую меж холмов дорогу, что исчезала за юго-западной стороной горизонта, а с нее — на всадника, взбиравшегося неспешно в гору. Прошло еще несколько минут, и всадник подъехал достаточно близко, чтобы маленькое его бесформенное тело, длинный ирландский плащ, и облезлая волынка, закинута на плечо, и жесткошерстный гаррон¹⁰⁹ под седлом стали отчетливо видны в сгустившихся понемногу серых сумерках. Едва вступив в пределы слышимости, он принялся кричать: «Да ты никак спишь, Тумаус Костелло, покуда цвет племени людского вытрясает душу из себя на проезжих дорогах? Давай, давай, гордый Тумаус, продирай глаза, ибо у меня для тебя есть новости! Давай, и поживей, олух царя

¹⁰⁸ Нетитулованное мелкопоместное дворянство, аналог испанских идалго.

¹⁰⁹ Низкорослая лошадь шотландской породы.

небесного!¹¹⁰ Да повынь ты корни из земли, сорняк рода человеческого!»

Костелло встал на ноги и, как только волынщик поравнялся с ним, схватил его за шиворот, вынул из седла и встряхнул как следует.

— Ну, хватит, не тряси меня! Ну, отпусти меня, слышишь, — завопил коротышка, но Костелло тряхнул его еще раз. — У меня новости для тебя от Мак-Дермотовой дочки Уны.

Могучие пальцы разжались, и волынщик, хватая воздух ртом, грохнулся оземь.

— Почему бы тебе сразу не сказать, что ты от нее? — спросил Костелло. — Глядишь, и печенки бы целее были.

— Да, я от нее, но я и слова не скажу, покуда мне не заплатят за такое со мной обращение.

Костелло принялся возиться с кошельком, в котором носил с собой деньги, и открыл он его не сразу, потому как пальцы у него дрожали.

— Вот все, что есть в моем кошельке, — сказал он, роняя волынщику в руку несколько французских и испанских монет; тот монеты взял и все их по очереди попробовал на зуб, прежде чем открыть еще раз рот.

— Что ж, это хорошая, это правильная цена, но говорить я все равно не стану, пока не пообещают мне защиты, и надежной защиты, потому как ежели попадусь я Мак-Дермотам на любой из здешних тропок после захода солнца или если днем они наложат на меня руки где-нибудь неподалеку от Кул-на-Вин, я останусь тихо гнить где-нибудь у дороги в крапиве, а не то так подвешат они меня за компанию к тем конокрадам, которых они вздернули на Белтайн¹¹¹ тому четыре года как. — И, говоря так, он привязывал поводья своего

¹¹⁰ В оригинале — слово *omadhau*, обозначающее по-гэльски не только «дурака», «олуха», но и некоторых странных персонажей, связанных с ши, типа *Amadán-na-Breena*, дурака из рата.

¹¹¹ Кельтский языческий праздник костров, праздновался в ночь на первое мая по старому, юлианскому, календарю.

гаррона к ржавой железной скобе, вделанной в каменную стену башни.

— Я сделаю тебя своим волынщиком и личным своим слугой, — сказал Костелло, — и никто не осмелится наложить рук на человека или на собаку, если человек этот или собака принадлежит Тумаусу Костелло.

— А еще я стану говорить, — добавил волынщик, расседывая лошадь, — тогда и только тогда, когда в руке у меня будет добрая стопка виски, ибо пусть оборван я и беден, пращуры мои одеты были хорошо и жили ладно, покудова семьсот лет тому назад чертовы эти Диллоны не сожгли наш дом и не угнали скот — ужо подивлюсь я на них на всех на адском вертеле и как они там вопят.

Костелло провел его вверх по узкой винтовой лестнице с каменными, выщербленными от времени ступенями в комнату, где пол был устлан камышом и где из удобств, входивших понемногу в моду среди ирландских джентри, не было ровным счетом ничего, и указал, где сесть, у камина; а когда волынщик сел, наполнил вкрай роговую вместительную стопку и поставил с ним рядом на пол, а со стопкою рядом кувшин, потом повернулся к нему и спросил:

— Ну, так придет ко мне Мак-Дермотова дочка, Дуаллах, сын Дэйли?

— Мак-Дермотова дочка не придет к тебе, потому как отец ее приставил к ней женщин, чтобы они ее стерегли, но я прислан сказать тебе, что на этой самой неделе, в вечер на святого Иоанна, будет обручение ее с Мак-Намарой с Озера, и она хочет, чтобы ты был там, для того чтоб, когда велят ей выпить за мужчину, которого она любит, она могла бы выпить за тебя, Тумаус Костелло, и всем показать, с кем было и есть ее сердце; я же, со своей стороны, советую тебе взять с собою людей, и понадежней, потому как конокрадовто мне видеть довелось этими вот самыми глазами. — И, протянувши Костелло пустую стопку свою, восклик-

нул: — Наполни мне стакан, Тумаус Костелло, ибо во истину говорю тебе, хотел бы я, чтоб вся как есть вода на свете утекла в одночасье в ма-ахонькую такую морскую раковину и чтобы не пить мне больше ничего, окромя виски. — Не дождавшись ответа, поскольку Костелло сидел теперь, уйдя глубоко в себя, и не слышал более ни слова, он заорал уже в голос: — Наполни мой стакан, говорю тебе, ибо не настолько велики Костелло в этом мире, чтобы не замечать в нем Дэйли, пусть даже Дэйли бродит теперь по дорогам с волынкою на плече, а у Костелло свой собственный холм, на котором не растет ничего и не вырастет, пустой дом на холме, лошадь и горстка коров.

— Давай хвали своих Дэйли, если есть охота, — откликнулся Костелло и снова налил ему вкрай, — потому как ты привез мне от любимой доброе слово.

Следующие несколько дней Дуаллах разъезжал по округе, пытаясь нанять для Костелло бойцов, и всякий человек, с кем он встречался, имел наготове о Костелло какую-нибудь байку: один вспоминал, как, будучи совсем еще мальчишкой, тот убил борца, так натянувши пояс, которым оба они были связаны, что сломал позвоночник большому и сильному мужчине; другой — как он на спор перетащил через брод упряжку взбесившихся лошадей; третий — как он, в зрелые уже годы, переломил в Мэйо стальную подкову; но никто из них не захотел ввязываться на стороне человека буйного нравом и бедного притом в ссору с людьми такими обстоятельными и богатыми, как Мак-Дермот Хозяин Стад или Мак-Намара с Озера.

Тогда Костелло отправился на поиски сам и привел с собой одного большого, но слегка не в себе человека, и еще батрака, который уважал Костелло за его физическую силу, и толстого фермера, чьи предки служили когда-то его семье, и пару пастухов впридачу — и рассадил их всех торжественно у очага в своем доме. Они принесли с собой тяжелые свои палки, Костелло раздал

им всем по старому пистолету на нос, и всю ночь напролет они пили в его доме виски и стреляли в репу, которую он насадил на вогнанный в стену вертел. Дуаллах сидел у дымохода на скамейке, играл на старенькой своей волынке «Вязанку камыша», «Анчонский ручей» и «Князей Бреффни» и глумился по ходу дела то над видом и статью нанятых стрелков, то над тем, как славно они мажут, то над Костелло, который так и не смог себе набрать людей поприличней. Батрак, полудурок, фермер и пастухи к насмешкам Дуаллаха давно уже привыкли, но что их удивляло, так это явное попустительство со стороны Костелло, который нечасто бывал что на похоронах, что на свадьбах, но если уж куда приходил, то не стал бы ни в жисть терпеть насмешек от какого-то нахального волынщика.

На следующий вечер они отправились в Кул-на-Вин; Костелло ехал впереди на порядочной лошади и при мече, прочие трусили следом на жесткошерстных пони, и у каждого под мышкой была палка. Они ехали по-над болотами и по тропкам между холмов и видели, как чуть не с каждого холма мигает им вслед огонек, от горизонта и до горизонта, и как повсюду люди плясали у красных торфяных костерков. Когда они доехали до Мак-Дермотова дома, там плясала у костра, посередине которого лежало догорающее колесо от телеги, большая толпа людей простых и очень бедных; через дверь же и через бойницы виднелся со всех сторон свет восковых свечей и доносился звук великого множества ног, как они пляшут под музыку Елизаветы и Иакова.

Они привязали лошадей к кустам, потому как множество других, привязанных так же, говорило о том, что конюшни в доме полны, протиснулись сквозь толпу крестьян, стоявших подле двери, и вошли в большую залу, где были танцы. Батрак, полудурок, фермер и оба пастуха остались вместе со слугами, глазевшими на танцы из-за перегородки, Дуаллах сел на скамью к волынщикам, Костелло же прошел туда, где стоял Мак-Дермот

и разливал гостям виски — и с ним же рядом стоял Мак-Намара.

— Тумаус Костелло, — сказал старик, — доброе ты сделал дело, коли забыл все прошлое и пришел на помолвку к моей дочери.

— Я пришел, — ответил Костелло, — потому что, когда во времена Костелло Де Ангало мои предки разбили твоих предков и после того заключили с ними мир, договорено было, что всякий Костелло может с людьми своими и с волынщиком приходить на всякий праздник, который устраивают у себя Мак-Дермоты, а всякий Мак-Дермот с людьми и волынщиком же — на праздники в доме Костелло, во веки веков.

— Если ты пришел с дурными мыслями и привел с собой оружных своих, — вспыхнувши, сказал Мак-Дермот, — так знай, как бы ты ни был хорош в бою, тебе придется туго, потому что из Мэйо приехали ко мне люди из клана моей жены и три моих брата со своими людьми спустились ко мне с Воловьих гор, — и он сунул руку за пазуху, так, как будто положил ее на рукоять.

— Нет, — ответил Костелло, — я просто пришел потанцевать напоследок с дочерью твоей, Мак-Дермот.

Мак-Дермот вынул руку из-за пазухи и подошел к стоявшей здесь же, неподалеку, девушке с бледным лицом, которая тотчас же опустила глаза долу: «Костелло пришел потанцевать с тобой в последний раз, потому что он знает: больше вы друг друга не увидите».

Когда Костелло вел ее среди танцующих, во взгляде ее, робком и трепетном, была любовь к нему за гордость его и за буйную его отвагу. Они заняли место, чтоб танцевать павану, сей горделивый танец, который, вместе с галеардой, сарабандой и моррисом, заставил ирландских джентри, за исключением разве что самых упрямых, забыть лихие, со стихами и пантомимую вперемежку, танцы былых дней; и, покуда они танцевали,

такая на них напала тоска, такая грусть и такая жалость друг к другу, какая только и знаменует собой высшее торжество любви. Когда же танец кончился, когда во-лынщики отложили свои волынки в сторону и подняли стаканы вверх, они отошли от прочих в сторону и стояли там задумчиво, молча, и ждали, пока не начнется музыка, и пламя в их душах всплеснуло и обожгло их, как в первый раз; они станцевали павану, и сарабанду, и галеарду, и моррис за долгую эту ночь, и множество народу перестало танцевать и стояло по стенам, чтобы посмотреть на них, и крестьяне собрались у дверей и заглядывали внутрь, словно бы знали заранее, что будут еще собирать вокруг себя много лет спустя внуков своих и правнуков, чтоб рассказать им, как видели они тот самый танец, когда Тумаус Костелло танцевал с Мак-Дермотовой дочкой Уной; и все это время, пока шли танцы и играла музыка, Мак-Намара ходил туда-сюда, говорил как мог громко и отпускал дурацкие разные шутки, чтобы только всем казалось, что все идет как надо, а старый Мак-Дермот все багровел и багровел и ждал зари.

Наконец он понял, что дольше ждать нельзя, и, как только стихла музыка, выкрикнул во весь голос, что вот сейчас, мол, дочь его выпьет заветную чашу; Уна подошла к нему, все гости стали полукругом, а Костелло отошел поближе к стене, и все его люди, и волынщик, и батрак, и фермер, и полудурок, и оба пастуха встали тесно по бокам его и за спиной. Старик вынул из ниши в стене серебряную чашу, из которой еще его мать и мать матери пили главный тост на давних своих помолвках, наполнил чашу испанским вином и подал ее дочери, сказав обычные в подобном случае слова: «Так выпей за того, кто люб тебе больше всех между прочими».

Она поднесла к губам чашу, подержала ее на весу, а после сказала голосом тихим и мягким: «Я пью за единственную свою любовь, за Тумауса Костелло».

И чаша покати­лась, покати­лась по земле, вызва­нивая, словно колокол, потому что старик ударил ее по лицу, и чаша упала, и воцари­лось молчание.

Среди слуг, высыпавших теперь все как есть из-за барьера, много было людей Мак-Намары, и один из них, сказитель и поэт, ко­ему всегда готовы были стул и тарелка у Мак-Намары на кухне, вынул было из-за пояса кинжал, но в тот же самый миг Костелло сшиб его с ног. Вот-вот зазвенели бы клинки, не загуди, не заворчи все разом крестьяне, что стояли в дверях, и те, что стояли за их спинами, тоже; потому как все знали, что сошлись сюда не дети Королевиных ирландцев, но дети ирландцев «диких», из окрестностей Лох-Габры и Лох-Кары, всех этих Келли, Докери, Друри, О'Риганов, Мэхонов и Лэвинов, которые правую руку чад своих оставляли некрещеной, чтобы удар был крепче, и которые, по слухам, крестными звали волков. Костяшки у Костелло побелели, пока держал он руку на рукояти меча, но руку он теперь отнял и вместе со своими людьми пошел к двери, и танцоры расступались перед ним, хоть многие делали это со злобою и без охоты, крестьяне же смотрели на него по большей части с одобрением, кричали и переговаривались между собой, и давали ему дорогу, потому как его слава бежала впереди него. Он прошел между крестьянских лиц, дружеских и искаженных яростью, туда, где привязаны были к кустам его лошадь и шестерка пони; он сел в седло и велел людям своим сделать то же и ехать по узенькой тропке прочь.

Когда они уже отъехали немного, Дуаллах, чей пони шел последним, обернулся к дому, где стояли друг против друга Мак-Дермоты с Мак-Намарами и другая, большая числом, толпа крестьян, и крикнул: «Мак-Дермот, ты получил в сей час чего заслуживаешь, ибо рука твоя всегда была скупа к волынщику, и к скрипачу, и к бедному бродячему люду». Не успел он еще и договорить до конца, как трое Мак-Дермотов с Воловьих

гор уже метнулись к лошадям, и сам старик Мак-Дермот поймал за повод пони, принадлежавшего одному человеку из клана Мак-Намары, и стал звать прочих последовать за ним; и много было бы нанесено ударов и многие бы умерли в ту ночь, не повытащи крестьяне головней из догорающих костров и не примись они бросать головни лошадям под ноги, так что те вырвались из рук у Мак-Дермотов и Мак-Намар и ушли в поле; а пока их всех переловили, Костелло был уже далеко.

Следующие несколько недель недостатка в новостях об Уне у Костелло не было, потому как то женщина, носившая на продажу яйца, то другая женщина или мужчина, шедшие за водой к Святому Колодцу, передавали ему, что Уна, мол, слегла больная на следующий же день после праздника и что вот теперь ей стало чуть хуже, а вот теперь чуть лучше.

В конце концов приехал верхами слуга, когда Костелло помогал двум пастухам косить луг, отдал ему письмо и тут же уехал прочь; в письме же были следующие слова, написанные по-английски: «Тумаус Костелло, дочь моя очень больна. Если ты не приедешь к ней, она умрет. А посему велю тебе явиться к той, чей мир и покой ты предательски украл».

Костелло отбросил тут же прочь косу, послал одного из пастухов за Дуаллахом, а сам пошел седлать свою лошадь и Дуаллахова пони.

Когда они приехали к дому Мак-Дермота, день перевалил за половину, и озеро Лох-Габра лежало далеко внизу, голубое в этот час и пустынное; и, хоть они и видели издалека, как суетились темные фигурки у дверей, дом казался столь же пустынным, как озеро. Дверь стояла открытой наполовину, и Костелло стучал в нее снова и снова, но ответа так и не дождался.

«Нет там, в доме, никого, — сказал Дуаллах, — ибо Мак-Дермот слишком горд, чтоб пригласить в свой дом Гордого Костелло», — с этими словами он распахнул дверь настежь, и они увидели грязную, оборванную

и очень старую женщину, которая сидела прямо на полу, прислонившись к стене. Костелло узнал ее, Бриджит Дилани, глухонемую нищенку; она же, едва его увидев, встала и сделала ему знак следовать за ней, и повела их обоих вверх по лестнице, а после длинным коридором к затворенной двери. Она открыла дверь толчком, и отступила в сторону, и села, совсем как прежде; Дуаллах тоже сел на пол, но ближе к двери, Костелло же вошел и стал смотреть на Уну, спящую в своей постели. Он сел на стул у изголовья и принялся ждать; прошло порядком времени, она не просыпалась, но, когда Дуаллах попробовал было намекнуть ему через порог, чтобы он ее разбудил, Костелло и пикнуть ему не дал, чтобы только она спала себе дальше. Потом, еще немного времени спустя, он обернулся к Дуаллаху и сказал: «Неправильно, что я сижу здесь вот так, когда никого из родни с ней рядом нет, простые люди красоты не любят, им только повод дай». Он спустился вниз, стал в дверях дома и ждал, и настал вечер, но никто из родных ее так и не пришел.

«Тот был дурак, кто прозвал тебя Гордый Костелло, — сказал наконец Дуаллах, — видал бы он, как ты стоишь тут и ждешь себе, и ждешь там, где встречать тебя оставили глухую нищенку, так назвал бы тебя Костелло Попрошайка».

Тогда Костелло сел в седло, и Дуаллах тоже сел в седло, но проехали они совсем немного, Костелло натянул поводья, и лошадь его стала столбом. Минута шла за минутой, и в конце концов Дуаллах не выдержал: «Чему ж тут удивляться, коль ты боишься обижать Мак-Дермота, вон сколько у него друзей да братьев, и пускай он и старик, но человек он заводной и сильный, а еще он из Королевиных ирландцев, и, случись вдруг что, все враги гэлов примут тогда его сторону».

А Костелло ответил ему, залившись краской, но глядя все так же в сторону дома: «Клянусь Святою Матерью Божьей, что я не поверну назад, ежели они не пошлют

за мной прежде, чем я переправлюсь через брод на реке Браун», — и он поехал прочь, но так медленно, что и солнце успело сесть, и летучие мыши принялись летать над болотами. Подъехавши к реке, он помедлил еще на берегу, а потом заехал на середину и остановился в мелком месте. Дуаллах между тем перебрался уже на тот берег и встал на обрывчике над омутом. Прошло еще немало времени, и Дуаллах крикнул, и зол он был на сей раз не на шутку: «Дурак зачал тебя, Тумаус Костелло, и дура выносила, и те дураки, кто говорит, что род твой стар и знатен, потому как происходишь ты от желтолицых нищих, которые шляются от порога к порогу и кланяются в пояс слугам».

Склонивши голову, Костелло перебрался через реку, встал с ним рядом и открыл было рот, но тут на другом берегу застучали копыта и всадник, поднявши тучу брызг, поскакал к ним через реку. То был Мак-Дермотов слуга, и заговорил он, едва дыша, как человек, скакавший что есть духу: «Тумаус Костелло, я приехал, чтобы отвести тебя обратно к дому Мак-Дермота. Когда ты ушел, дочь его Уна очнулась и сказала имя твое, потому что видела тебя во сне. Бриджит Дилани увидела, что она шевелит губами, прибежала к нам, туда, где мы прятались, в лесу над домом, схватила Мак-Дермота за рукав и привела его к дочери. Он увидел, что та плоха совсем, и дал мне собственную лошадь, чтобы я только поскорее привез тебя в дом».

Тогда Костелло обернулся к Дуаллаху Дэйли, волынщику, и, вынувши его за пояс из седла, швырнул о большой валун, торчавший из воды, так что тело его тут же и ушло под воду в омут. Потом вогнал он шпоры лошади в бока и помчался во весь опор на северо-запад, вдоль берега реки, и не останавливался ни на минуту, покуда не нашел еще один брод, глаже прежнего, и не увидел, как отразилась в воде взошедшая луна. Он постоял немного в нерешительности, а потом пересек бродом реку, взобрался на Воловьи горы и спустился

затем к морю, не отводя дорогою глаз от луны. Тут, однако, лошадь его, которая давно уже потемнела вся от пота и дышала тяжело, ибо он охаживал ее шпорами нещадно, упала и выбросила его из седла на обочину. Он попытался было поднять ее, но толку в том не было, и тогда он пошел за лунным светом вслед пешком; а когда добрался до моря, увидел на воде стоявшую на якоре шхуну. Теперь, когда идти он дальше не мог, потому что перед ним было море, он почувствовал вдруг, что очень устал и что ночь выдалась холодная; тогда он зашел в прибрежную корчму и упал на деревянную скамью. Зала полна была испанских и французских моряков, которые привезли только что контрабандой груз вина и ждали теперь только лишь попутного ветра, чтобы опять выйти в море. Испанец предложил ему на скверном гэльском выпить. Он выпил и стал говорить, быстро и сбивчиво.

Три недели ветер дул с моря либо же был слишком силен, и моряки все это время сидели в корчме, пили, и говорили, и играли в карты, и Костелло был с ними, спал, когда спал, прямо на скамье, а играл он, пил и говорил поболее всех прочих. Вскорости лишился он тех немногих денег, что были у него при себе, а после длинного своего плаща, и шпор, и даже сапог и тех лишился. Потом подул в испанскую сторону добрый ветер, команда села на весла и ушла на свой корабль, а в скором времени даже и паруса корабля пропали за горизонтом. Тогда Костелло отправился в сторону дома, и жизнь его бежала, глаза по сторонам, на шаг впереди него, и шел он так весь день, а чуть за вечерело, добрался до дороги, что вела из окрестностей Лох-Габра к южной оконечности Лох-Кэй. На дороге он увидел большую толпу крестьян, а также фермеров, которые шли все тихо-тихо следом за двумя священниками и группой хорошо одетых людей, из коих несколько несли на плечах своих гроб. Он остановил какого-то старика и спросил, кого хоронят и чьи они тут все люди,

и старик ему ответил: «Хоронят Уну, дочку Мак-Дермота, а мы все Мак-Дермоты, и Мак-Намары, и близкие к обоим кланам, а ты — тот самый Тумаус Костелло, который ее убил».

Костелло пошел быстрее, к самой голове процессии, и люди смотрели на него с ненавистью, он же едва понимал, что они там говорят ему вслед. На полпути он опять остановился и спросил, кого хоронят, и кто-то ответил ему: «Мы несем Мак-Дермотову дочку Уну, которую ты и убил, чтоб схоронить ее на Инсула Тринитатис¹¹²», а потом человек этот поднял с земли камень и кинул его в Костелло, да так, что рассек ему скулу, и кровь залила лицо. Костелло пошел дальше, едва почувствовав удар, и, дошедши до тех, что были у гроба, протиснулся силою в самую их середину, положил на домовину руку и громким голосом спросил: «Кто там в гробу?»

Три старых Мак-Дермота с Волových гор подхватили с земли камни и велели людям своим сделать то же: и так его, покрытого кровью и прахом, согнали с дороги.

Когда процессия вся прошла мимо него, Костелло снова двинулся вслед за ней вдоль дороги и увидел издалека, как домовину положили на большую лодку, а все, кто был рядом, сели на другие лодки, и лодки пошли тихим ходом по воде на Инсула Тринитатис; прошло какое-то время, и он увидел, как лодки вернулись, те, кто был в них, вышли, смешались с толпою на берегу, а после все они стали расходиться кто куда по множеству дорог и тропок. Ему показалось, что Уна должна быть где-то там и что она приветливо ему улыбается; чуть только все разошлись, он вошел в воду и поплыл в ту сторону, куда ходили лодки, нашел у стен разрушенного аббатства свежую могилу, бросился на нее ничком и стал звать Уну, чтобы она к нему вышла.

¹¹² Остров Троицы (лат.).

Так он лежал всю ночь и весь следующий день, выкликая время от времени ее по имени, но, когда настала третья ночь, он позабыл, что тело ее лежит под землей в могиле, но помнил только, что она где-то рядом, но не хочет к нему выйти.

Незадолго до рассвета, когда крестьяне проснулись уже и слышали его безумные вопли, он крикнул что было сил: «Если ты не выйдешь ко мне теперь, Уна, я уйду и не вернусь к тебе никогда», — и прежде, чем голос его затих, пронесся над островом холодный вихрь, и он увидел, как мимо него пронеслась какая-то женщина-ши; а следом за нею шла Уна, только вот улыбки не было на ее лице, и прошла она быстро и зло, и ударила его на ходу по щеке, воскликнув: «Тогда уходи и больше не возвращайся».

Костелло встал с могилы, поняв только, что он чем-то обидел свою любовь и она теперь хочет, чтобы он ушел; он добрал до воды и пустился вплавь. Он плыл и плыл, но потом руки его и ноги устали держать его на плаву, и, не так уж много отойдя от берега, он утонул без всплеска и крика.

На следующий день его, лежащего на белом озерном песке в камышах, нашел рыбак и отнес в свой дом. И крестьяне плакали над ним и отпели его, а после схоронили на Инсула Тринитатис, так, чтобы между ним и Мак-Дермотовой дочкой был один только разрушенный алтарь, и посадили над ними два ясеня, которые впоследствии переплелись между собой и листва их смешалась.

СОДЕРЖАНИЕ

КЕЛЬТСКИЕ СУМЕРКИ

Сказитель	7
Вера и неверие	9
Помощь смертных	10
Духовидец	12
Деревенские призраки	15
«Прах покрыл Елены очи»	22
Хозяин стад	31
Память сердца	34
Чернокнижники	36
Дьявол	39
Теологи счастливые и несчастливые	40
Последний глимен	45
Regina, regina pigmeorum, veni	52
«Они сияли яростно и ясно»	56
Зачарованный лес	59
Таинственные существа	64
Аристотель-книжник	65
Демоническая свинья	66
Голос	67
Ловцы человеков	69
Те, кто не знает усталости	76
Земля, вода и пламя	79
Старый город	80
Живые сапоги	83
Трус	84
Три О'Бирна и злые фэйри	85

Драмклифф и Россес	86
Крепкий череп, божий дар	94
Молитва моряка	96
О близости неба, земли и чистилища	97
Едоки драгоценных камней	98
Мать Божья на горах	99
Золотой век	102
Упрек шотландцам, утратившим доброе расположение собственных духов и фэйри	103
Война	108
Королева и дурак	110
О тех, кто дружит с фэйри	115
Грезы без всякой морали	122
У обочины дороги	135
В сумерки	137

ИСТОРИИ О РЫЖЕМ ХАНРАХАНЕ

Рыжий Ханрахан	141
Сучение веревки	153
Ханрахан и Кэтлин, дочь Холиэна	162
Проклятие Рыжего Ханрахана	165
Видение Ханрахана	173
Смерть Ханрахана	179

СОКРОВЕННАЯ РОЗА

Распятие изгоя	191
По ту сторону Розы	200
Мудрость короля	208
Сердце весны	213
Проклятие огней и теней	219
Где нет ничего, там Бог	225
Сумерки душ	231
Гордый Костелло, дочь Мак-Дермота и злой язык	237

Йейтс У. Б.

Й 30 Кельтские сумерки : рассказы / Уильям Батлер Йейтс ; пер. с англ. В. Михайлина. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 256 с. — (Азбука-классика. Non-Fiction).

ISBN 978-5-389-08110-9

Уильям Батлер Йейтс (1865–1939) — один из величайших поэтов Ирландии, в равной степени принадлежащий ирландской и английской литературе, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 1923 года — «За вдохновенное поэтическое творчество, передающее в высокохудожественной форме национальный дух». Проза Йейтса несколько менее известна, чем его поэтическое наследие, но не менее интересна. В настоящее издание вошли самые значительные прозаические произведения Йейтса — «Кельтские сумерки», «Сокровенная Роза» и «Истории о Рыжем Ханрахане», составляющие не только собрание увлекательных историй, но и путеводитель по ирландской истории и мифологии, служившие неиссякаемым источником вдохновения поэта.

УДК 821.111

ББК 84(4Ирл)-44

Литературно-художественное издание

УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС
КЕЛЬТСКИЕ СУМЕРКИ

Ответственный редактор Екатерина Дубянская
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ольги Варламовой
Корректоры Анна Лобанова, Станислава Кучепатова

Подписано в печать 04.06.2014. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 11,28.
Заказ № 1180/14.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, наб. Робеспьера, д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



YNFA1611501R

Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

В состав Издательской Группы «Азбука-Аттикус» входят известнейшие российские издательства: «Азбука», «Махаон», «Иностранка», «КоЛибри». Наши книги — это русская и зарубежная классика, современная отечественная и переводная художественная литература, детективы, фэнтези, фантастика, pop-fiction, художественные и развивающие книги для детей, иллюстрированные энциклопедии по всем отраслям знаний, историко-биографические издания. Узнать подробнее о наших сериях и новинках вы можете на сайте Издательской Группы «Азбука-Аттикус»

<http://www.atticus-group.ru/>

Здесь же вы можете прочесть отрывки из новых книг, узнать о различных мероприятиях и акциях, а также заказать наши книги через интернет-магазины.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ ОБРАЩАЙТЕСЬ

В Москве:

ООО «Издательская Группа

„Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-00,

факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО «Издательская Группа

„Азбука-Аттикус“» в г. Санкт-Петербурге

Тел.: (812) 327-04-55

факс: (812) 327-01-60

E-mail: trade@azbooka.spb.ru

atticus@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

тел./факс: (044) 490-99-01

E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах,
а также условия сотрудничества
на сайтах

www.azbooka.ru

www.atticus-group.ru

АЗБУКА-КЛАССИКА
NON-FICTION

Уильям Батлер Йейтс — один из величайших поэтов Ирландии, в равной степени принадлежащий ирландской и английской литературе. Проза Йейтса несколько менее известна, чем его поэтическое наследие, но не менее интересна.

В настоящее издание вошли самые значительные прозаические произведения Йейтса — «Кельтские сумерки», «Сокровенная Роза» и «Истории о Рыжем Хапрахане», составляющие не только собрание увлекательных историй, но и путеводитель по ирландской истории и мифологии, служившие неиссякаемым источником вдохновения поэта.

Уильям Батлер Йейтс
(1865—1939) —
поэт, драматург, лауреат
Нобелевской премии
по литературе 1923 года —
«За вдохновенное
поэтическое творчество,
передающее
в высокохудожественной
форме национальный дух».

АЗБУКА



Кельтские сумерки

АЗБУКА

В оформлении
обложки использован
фрагмент картины
Эдварда Роберта Хьюза
«Сумеречные фантазии»

ЙЕЙТС

ISBN 978-5-389-08110-9 01



www.azbooka.ru